

Федор Метлицкий

Унесенный

Повесть

16+

Федор Федорович Метлицкий

Унесенный

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=59940992

SelfPub; 2020

Аннотация

Космический турист-2, выйдя в скафандре в открытый космос, неожиданно для себя отсоединяет спасательный фал и улетает в космос. Зачем я это сделал? – с ужасом думает он. И вспоминает свою земную жизнь. Что это было? После запрета его организации, которой он отдал жизнь, а потом смерти сына, жены, он ищет потерянный смысл своей жизни и оправдание своего побега от Земли, чтобы спокойно, без отчаяния подготовиться к расставанию со всем, что любил. В этой книге был использован звуковой дневник «мыслеоткровений» Туриста-2, записанный на пленке в секретном отделе ранца его скафандра.

Содержание

1	5
2	7
3	9
4	19
5	25
6	36
7	42
8	55
9	70
10	79
11	86
12	96
13	103
14	107
15	111
16	116
17	119
18	121
19	127

У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.

Что нам
потерять
часок-другой?

В. Маяковский

1

Все, до чего дошла мысль человека – это сотворение мира путем Большого Взрыва. Да и эта догадка, может быть, сомнительная.

В сингулярной точке все было слито в единство. И вдруг все взорвалось, разделились все энергии взаимодействия. И через бесчисленные модификации веществ материи у рожденного человека появилось сознание, открывшее в энергии тягу к сохранению и продлению, тоску по единству, слиянию. Отсюда родились верования, религии и романтика.

Или наоборот: вначале было сингулярное экзистенциальное одиночество. И вдруг невыносимо тесная клетка взорвалась, и все распахнулось, дух вышел на свободу. И человек возжаждал свободы.

А еще хуже: в сингулярной точке стало невыносимо от тесноты, и во взрыве было такое пекло в миллиарды градусов, и такая электрическая текучесть разделенных частиц, еще не объединившихся в атомы, что о единстве, одиночестве или свободе не могло быть и речи. Только случайность привела к рождению человека. Отсюда различные идеи скептицизма и пессимизма.

Так он думал, оставшись один и слушая жутковатые «вздохи» космической пустоты. Здесь уже не надо притво-

ряться или закрываться в иллюзиях.

Когда Гордеев согласно туристической программе выходил через шлюз в открытый космос в сопровождении инструктора, в скафандре и полном снаряжении космонавта, за открытой дверью он оступился и упал в темную бездну. В бездну безграничной свободы, какой раньше никогда не ощущал. Правда, было вязко двигать телом и руками, словно в воде.

Вдруг – не осознавая, зачем, легкомысленно отстегнул карабин спасательного фала. Завороженно оторвался от борта туристической космической станции, словно от пуповины земной колыбели, и с ужасом —метр – два – три – пять ... стал стремительно удаляться в пустоту космоса.

И сразу осознал свое страшное, непоправимое действие. Космический корабль ушел вперед и, где-то читал, он встретится с кораблем через 2400 витков вокруг Земли.

В скафандре был реактивный ранец “Safer”, чтобы предотвратить вращение, но не было ручного управления для возврата на станцию.

Он улетал в черную бесконечность, нечувствительно с огромной скоростью, предчувствуя, что теперь будет вечно болтаться среди нереально далеких безнадежно светящихся созвездий и туманов и отдельно немигающих звездочек,

непригодных для жизни. Где, как утверждают космологи, полыхает пламя ядерных взрывов. Откуда нет возврата.

Где-то там, в поблескивающем космическом корабле командир Марков всматривался в панель центрального пульта управления, сплошь в прямоугольниках светящихся огоньков и кнопок устройств, в которых ощущалась гармония.

Перед пультом – чудом инженерной мысли, широкое окно открывало черное пространство со странно немигающими звездами.

Помощник рылся в стенках обшивки, энергично перебирая провода, исследовал оснастку.

Они остановились, пораженные, услышав смятенный голос инструктора по радиомикрофону, и кинулись к приемопередатчику.

– Турист-2, турист, отзовитесь! – ошарашенно запрашивал передатчик. – Отзовитесь, турист, где вы?

Но отставшего от станции с позывным «Турист-2» не слышали.

Гордеев не любил такие космические прогулки вместе с массой туристов, жаждущих пощекотать нервы. Он хотел выйти из своей непонятной усталости и одиночества во что-то широкое, как космос.

Это был один из обычных туристических космических полетов на высокой орбите вокруг Земли, который описан многими авторами и перестал волновать. Рутинный полет, как на пассажирском пароходе вниз по Волге или Дунаю.

Туристы были почти все из общественного движения «Голос истины», приглашенные учеными Звездного городка, участниками Движения. Здесь было все для удобства космического туризма: кухня, медпункт, сауна, склады для провианта и технического инвентаря, оранжерея, зона отдыха с тренажерами для занятий спортом, библиотекой, спальными местами и принадлежностями для туалета. Впрочем, все это описано в книгах.

Пассажиры в зоне отдыха, держась условно окрашенного пола и колыхаясь при движении, разглядывали в иллюминаторы сияющую планету Земля, и черноту космоса в россыпи неподвижных звезд.

*Это правда? Космический гул из глубин
Весь громадно чуток и осторожен.
Что мы ищем – какой небывалой судьбы?
Чем взволнован я, в космосе не отгорожен?*

Космический турист Михеев по инерции стучался боками о какие-то перегородки, жалуясь, что у него нарушена биомеханика, больше, чем у других. Наконец, пристегнул себя в спальном месте, повис в невесомости и, тихо пйсая в свой мочеприемник, впервые ощутил свое незначительное прошлое перед этим величием бездны. Не совершил ничего стоящего. Вспоминал споры здесь, на станции, с Гордеевым.

Тот говорил ему:

– Виноваты всегда те, кто признает нравственный закон. Ты не виноват ни в чем, потому что у тебя нет нравственного закона.

Лева Ильин, друг, добавил:

– И не знает, зачем это – думать.

Михеев не понимал. В приятелях, как обычно, скрытое презрение, хотя не хотят показывать вида.

– При чем тут это?

– Ты радуешься, что не ты, а другие берут ношу на себя.

– Каждый должен делать свое дело. Мне никто не помогает, а мне зачем помогать кому-то?

Он с неудовольствием представил у себя внутри холодную лягушку равнодушия к чужим судьбам.

Гордеев продолжал дразнить его.

– Интересно посмотреть, как ты будешь умирать. Упрешься в одиночество, как в стену.

– Даже не женился из боязни, – вторил Лева.

– Если умру, не будет иметь значения, испытал ли все, что требовал от жизни. Она не вертикальна, а параллельна, сказал кто-то, – ее невозможно накапливать.

– Хуже, что ничего не накопишь.

Михеев привычно переключился на свой фирменный шутовской тон, когда его задевали, или нечем было крыть.

– Вот, вы накопили больше, а какой смысл?

– Может, и нет, но есть какое-то успокоение.

Гордееву расхотелось высказывать мысль о странном успокоении в его душе, когда видит земной мир не из скучного быта, механически фотографирующего окружающее, а панорамой множества иных измерений.

Турист из Америки по имени Алекс, журналист, удивлялся:

– What are you talking about? У American peoples нет в голове таких разговоров. Ваши мозги слишком далеко ушли от грубой reality.

Он выглядит экранным героем старых американских фильмов, ровно загорелый, с фирменной прической, словно выкован на спортивных снарядах, выполоскан и обсосан в фитнес-клубе. Обтесавшись в русской среде, он давно перестал считать этих славян грубыми, искореженными рабо-

той на природе во всякую погоду. И находил что-то общее в несопоставимых корнях природы их двух народов.

Кто-то из обитателей станции, морщась, стал отгонять от носа пузырьки капелек.

– Фу, это же моча! Кто нарушил инструкцию?

Все глянули на Михеева. Тот засуетился. Лева Ильин деловито сказал:

– Он перемудрил что-то во всасывающем вентиляторе молчеприемника. Вот и выпустил фейерверк брызг.

– А что тут такого? – хотел сгладить Михеев.

– Да ничего особенного. Вкус собственной мочи не так противен, как для других.

Гордеев и его друг Лева знали Михеева как облупленно-го, он был постоянным спутником еще со времен создания их трудного и горького детища – общественного движения «Голос истины». Скорее, мальчиком для битья – над ним постоянно подшучивали, он всегда вляпывался в нелепые ситуации.

– Это самый грандиозный нелепый поступок нашего друга Михеева! – торжественно сказал Гордеев. – Посреди всего мироздания.

Он почему-то привязался к нему, привык, что ли?

Туристы спорили, совсем забывая об их положении, как будто находились в прежней оболочке земного мира.

Одни и те же разговоры, – думал Гордеев. Все, что устоя-

лось в сознании людей веками, серьезное – здесь показалось ему каким-то эпизодом ослепления человечества самим собой. Общественная суета – это общий обман. Он устал от суеты, от однообразной бесконечности бессмысленного пути. Как только исчезает время – исчезает и судьба. У него исчезло время в ощущении грандиозности космоса.

Внутри ощущения существования нет времени, смерти или бессмертия. Как в любом живом чувстве. Это не иллюзия, не слепота, а страх не погаснуть. Вспышка исцеления, бессмертия – из человеческой реальности.

Чувства, то есть древние побудительные инстинкты живого, не поддаются выражению словами. И в них сущностная лишь одна древняя истина – любовь, эмпатия, чудесным образом исцеляющая душу. Как бы ни выпендривался в словах человек, он любит инстинктом. Его может поражать что-то, но ты, вот, ему приятен и люб, и там еще кто-то ворочается, самый милый. А ты – все равно говно.

Плохое забывается, а здесь, в космосе, исчезает сразу. Цивилизации на Земле создали цветущую жизнь. И здесь, из невообразимого далека, уходящего все дальше и дальше, становится трудно различить раздоры, несчастья, – эмоциональную борьбу человеческих существ. Словно те раздоры и несчастья – лишь незаметная скучная часть мирового развития. Отсюда кажется, что сама природа изменяет планету, а не люди создают ей помехи, приносят проблемы.

Но эти мысли не помогали ему.

– О чем вы треплетесь? – оторвался Марков от возни с пультом управления. У него сиплый "орущий" голос, словно выдавливал слова криком, над которым посмеивались.

Все глянули в узкое длинное окно над пультом, в чужую бездну с немигающей звездой у края. И снова пахло бездонной загадочностью черного космоса.

*Может быть, все мы оттуда пришли?
Там, где разладом мы не были ранены,
И было открыто величье причин.*

Туристы устали и замолчали. Любовались потрясающим зрелищем в иллюминаторе на закате Земли – сбросом накопленной мочи в космос, она в ледяном вакууме мгновенно испарялась и, превращаясь в лед, разметалась ледяным облаком.

Видя в иллюминаторах целиком планету, словно в бело-голубых неподвижных вихрях, они почему-то представляли не родной дом, а историю родной Земли. Призрачно, как земные облака, она плыла перед ними.

Вспоминали себя наивных, лежащих на зеленой лужайке под безмятежным небом, или закрытым клубами обла-

ков, и не приходили в голову мысли о хрупкости этой тончайшей голубой оболочки планеты. Вокруг случались события под непроницаемой, но хрупкой сферой, там люди под ней, ослепленные в борьбе между собой, сжигали на кострах недоброжелательства тех, кто пытался проникнуть за нее.

И поражались своей наивности!

Не приходило в голову, что земная оболочка возникла из краткого дыхания мириад крошечных созданий, дышащих углекислым газом и выдыхающих кислород, которые отложили многометровое дно океанов, потом вздыбившееся горами в периоды потрясений земной коры.

По сути, тот крутящийся земной шар, наклонной осью к солнцу, держится на тонких невидимых нитях солнечного тяготения, и жизнь человечества колеблется еще на нитях земного притяжения, и неведомые страшные силы могут в любую минуту оторвать и унести в космос. И оттого становится тревожно.

Сейчас им стали яснее неблагоприятные дни планеты, зависящие от расположения звезд, энергии солнца, состояния недр космоса, экстрасенсорного восприятия информации и др. Почувствовали глубинные закономерности мироздания.

Интересно, думал Гордеев, выживет ли человечество, обреченное жить в общности отдельных человечков, рассеянных по планете? Сейчас оно пока еще в своих внутренних интересах, и мы уже осознаем временность такой слепоты.

Сейчас все были потрясены. С холодком на сердце воображали состояние отставшего от спасительной станции товарища, наверно, испытывающего ужас, как перед неизбежной катастрофой у пассажира падающего самолета. На миг забыли неудобства – странное отсутствие тяготения, поднимающее вверх внутренности, и особенно головную боль – от изменения внутричерепного давления мозга, и проблемы со зрением.

Лева Ильин кинулся к посту управления, стремясь узнать что-нибудь, еще не осознавая трагедии. Это было невероятно, он не ожидал такого от всегда ироничного друга. В его груди как бы открылась рана, такого он не мог предположить, когда им вместе было весело.

В голосе туриста Михеева был невольный испуг, как будто потерял необходимого человека, хотя тот смеялся над ним.

– Ему конец?

Он вспомнил, как Гордеева снаряжали на выход в открытый космос – элемент туристической программы. Вталкивали в «дверь» просторного скафандра, такого же, в каком американские космонавты побывали на Марсе, – неуязвимого, как футбольный мяч, который могут терзать толчки, тяготение, космические лучи и еще черт знает что. Нечто герметичное и просторное, с жестким корпусом «кираса» и мягкими подвижными руками, правда, ограниченными, как будто

сгибаешь туго накаченную автомобильную камеру, как верно сказано в описаниях. Сзади ранец жизнеобеспечения, на груди электронная панель управления с пультами включения радиосвязи, подкачки кислорода, датчиком поддержки давления, терморегулирования и выброса отходов.

– Туда бы еще бабу! – хихикнул Михеев. – Тогда можно жить!

Кто-то прыснул.

– А если будет чесаться нос?

Космонавт, работник станции, серьезно сказал:

– Перед лицом встроены чесалки. Это «вальсальва» – маленькая подушечка с двумя бугорками, упираешься, и можно чесать нос. Можно продуть и уши, когда меняется давление.

– А если будет давление на мозг? Голова заболит.

– А для этого есть вот эти штаны. Действуют как прибор для регулирования давления.

– Штаны его и спасут! – ерничал Михеев.

Кто-то встревоженно спросил:

– А вдруг улетит?

– Для этого есть спасательный фал и страховочные тросики, они крепкие. Вот если отцепить – ничто не поможет. В туристических скафандрах нет реактивных систем спасения – сопел, регулирующих возврат на станцию.

– Подождите! – сердито заорал командир корабля Марков. Его волевое лицо застыло в стоической растерянности, вызывая у туристов еще большую тревогу.

– Скафандр обладает долговременной автономной энергией, хватит на несколько дней. Будем думать, как помочь.

Но все знали, что помочь невозможно.

Михеев ужасался, и тихо радовался, что это не с ним. «Есть люди как бы завершенные, с непробиваемым оптимизмом», – злобно думал Лева, он все еще находился в тяжком недоумении. И видел его противное птичье лицо, похожее на распаренное, ушедшее в себя эгоистическое выражение лица утирающегося после парной.

Михеев не мог представить, как это – улететь без возврата. Сейчас он радостно торкался во все углы, ощущая радость от их надежности.

Американский турист Алекс тоже стал мрачным.

– We all take risks, like our astronauts who almost died on. Все мы рискуем, как наши космонавты, которые почти погибли на Марсе.

Михеев вдруг обозлился:

– Не было американцев на Марсе! Где их следы, их флаг? Ау! Нет их. Это выдумали в Голливуде с помощью спецэффектов.

Немного успокоившись, Гордеев холодно ужаснулся. Зачем невольно отстегнул спасательный фал: из инстинктивного желания освобождения, сбежал от постоянной замкнутости в стенах существования?

Странно, здесь, в черной бесконечности, он перестал чувствовать себя одиноким в россыпи звезд и туманностей. Был всецело свободным – никаких ограничений. Свободен от любви и от плакатов! Все, что ограничивало, вызывая страдание, исчезло. Сейчас, в недостижимости от страдания, кажется, могу летать, ныряя в звездной пыли, или вздымаясь над ней и падая вниз, в любую сторону без визы. Тем более, что родных нет, а попутчики – «пускай они поплачут, им ничего не значит». Он представил наивную радость попутчиков, что это не они улетели в бездну.

Здесь уже не надо притворяться или закрываться в иллюзиях. И вся горечь судьбы растворяется в этом новом измерении, где, наконец, успокоен.

– Почему я не мог полюбить по-настоящему свое окружение?

И не стал нажимать кнопку приемопередатчика, все равно невозможно повернуть назад.

Может быть, не мог жить там, на Земле, потому что устал от неудач? Или одиночества среди людей, ослепших в своих интересах? В каждой стране планеты население занято своей реальностью – проживает жизнь внутри разных степеней обеспеченности, стремясь к успеху, каждый по-своему. Кто хочет денег и длинного автомобиля, трехэтажного дома с несколькими ваннами, курильной, бильярдной, с лужайкой и бассейном; кто силится обеспечить семью самым необходимым... А страны, те до сих пор дерутся за жирные куски чужой земли, оттяпывая частями, или вожделеют рынки сбыта, уже освоенные другими.

И всем вливается в головы один и тот же объем информации, и каждый отбирает свое, не ведая, что другой вливает в себя те же самые шаблоны мысли, усилием ли воли в жажде понять смысл, или без усилия подбирая то, что случайно залетает в голову, и в голове оседают лишь слухи.

А те, кто взобрался на вершину успеха, не могут отказаться от своего интуитивного превосходства, как начальник поневоле ощущает себя выше своих суесящихся подчиненных, когда он входит в свой кабинет (Гордеев давно отрезвел, ему уже этого не было нужно). Хотя иногда могут увидеть себя трезво, обнажаясь догола, стать самими собой, обычными людьми. Впрочем, не все ли равно, глупы они или умны, при взгляде из космоса.

Сейчас его перестали волновать недоброжелатели – стал

смотреть на бывших соперников, уже отболев, с удивлением, как на древнего египтянина, пьяницу и соблазнителя, кравшего вещи из пирамиды фараона, о суде над которым рассказано в древнем свитке.

Мир в сознании ячеист, в каждой ячейке свои глупости и иллюзии самосохранения, ибо никто не видит себя со стороны. Все проблемы сливаются в одну: добиться благополучия и, не дай бог, не умереть.

Здесь, в космосе, те эмоциональные пристрастия удаляются в прошлое, и каждая реальность на Земле, на протяжении всей истории прошлого и настоящего видится в настоящем времени, и слепо кружится внутри себя, не зная, что можно посмотреть на себя со стороны.

Маленькие истории жизни туристов на космическом корабле утонули – в величии космоса. Отсюда Земля виделась отстраненным голубым шариком – в ней исчезли угнетающие мелкие вещи и делишки, значительные, когда они у собственного носа.

Для Гордеева разделение между тем прошлым и настоящим, в черной пустоте, стало таким невообразимым, как между планетой людей и экзопланетой, удаленной на несколько световых лет, о которой ничего не известно.

Он летел в безграничную близость вселенной, слыша вздохи из самого ее начала, шум реликтового излучения. Летел в невероятную новизну, что питала его с юности. Претво-

рял в актуальность то, что вечно любят люди – бесконечный полет, формулу поэзии. И становился ясным смутный замысел искусства Земли, хотя оно пока лишь стремится стать космическим. Его вдохновение – из земного, человеческого. Чудо – из человеческого.

Станислав Лем мечтал о большом искусстве, как сама Земля, земное тяготение, вылепившее человека. Как она прекрасна, и потому так трудно космонавту быть не в своей среде!

Сейчас в искусстве все еще сохранилось сочувствие к нищим духом Акакиям Акакиевичам. А как быть с теми, кто не желает выбираться из темноты? А с теми, кто бесцеремонно вторгается в личное пространство других людей?

Он усмехнулся: какими пустяками я занят в моем положении?

Так вот какая она: безграничность! Если бы только не этот надрыв пустой бесконечности, откуда уже не вернуться назад!

И потянуло на поэзию. Стал сочинять стихотворение, оно получалось каким-то зловещим.

*Как это страшно – не на Земле
Жить, о ее угрозах не зная, —*

*И вдалеке не ведать о зле,
Далью его миражи развеивая.
Что же дальше? В иное прорыв?
Вакуум, холод – среда обитанья?
Там, в невесомости, страшины дары,
Необратимость в земные страданья.
Легкие – крыльев моих пузыри,
Хрупкие кости и тонкие ноги.
Где-то на дне атмосферы Земли
Предки остались в начале дороги.
Как земноводные, стали чужды,
Нет, и не вспомнится близость бывая.
Только лишь в памяти – прежняя жизнь,
И теплота, что нас вместе сбивала.*

Он казался себе неподвижным, хотя летел со скоростью сорок тысяч километров в секунду, топорщась, мнилось ему, ногами в бездну, и странно, мозг обманывал, давая ощущение комфортности. Былая жизнь лежала перед ним, как на ладони, виделась компактной и цельной, так, что в сознании вместились вся целиком.

Есть разные возможности узнавать события. Есть сообщения в картинках, в эмоциях и метафорах, хотя метафоры хромают. Или в разнообразной информации виртуальными средствами. Но есть такая встроенность лица в структуру космоса, когда теряется смысл языка, образа, биографии.

Что-то подобное возникало в его мозгу.

Что могу сказать, что и зачем было в моей жизни? Только сверканье живого ранимого потока? А в старении – тяжкое перетаскивание потухающего огня из года в год? Биографию ли сочиняю в уме? Все это бессмысленно.

К чему я пришел? Абсурд ли – жизнь на дне земного притяжения, или есть нечто, ради чего можно жить? Или это иллюзия неисправимой романтической натуры? Человек бессознательно живет в своем безмятежном лоне детства, а потом тело его может передвигаться по всему земному миру, а дух – летает дальше самых краев мыслимого пояса Койпера. Жизнь состоит из острой победительной силы молодости, легко выплескивающей энергию до полного напряжения жил, и постепенного перехода в податливое бессилие равнодушия – будь, что будет! Вспоминаю все отрадное или горькое, что со мной было.

Слепое от солнца детство на краю земли, отец и мать – потомки бывших ссыльных интеллигентов. Вдоль залива разлился созвездием огней приморский город, давно переставший быть провинцией. Везде следы воплощения грандиозных проектов недавнего времени – международного значе-

ния пристань, грохочущая кранами, судостроительный завод, огромный мост через залив... Но странно, здесь жили люди со своими бытовыми интересами, им было не до глобальных событий.

Суматоха строительства с крупными издержками, недостатками и коррупцией, не затронула его, была естественным фоном. У него было странное восприятие мира, как при виде ослепительного океана с обрыва, куда часто бегал. Был погружен, как в сладкий сироп, в величавую грусть, словно самого мироздания. Постоянная эйфория, что-то смутное и слепое, не основанное на опыте. Как у резвого теленка, не способного осознавать мир.

В детстве хотел обнять всех, даже физически переживая "чувство безграничной близости и доверия к миру" (из дневника). Была ли это иллюзия романтика 90-х прошлого века, живущая в генах счастливым плачем от крушения тиранического режима и рождения новой неслыханно свободной жизни, или полыханием надежд предков после революции 1917 года? Или это оборотная сторона младенческого эгоистического требования, чтобы все меня любили?

Откуда в нем жила неслыханная гордыня юности? Вот эпиграф его первого дневника, из Лермонтова: "Я каждый день / Бессмертным сделать бы желал, как тень / Великого героя, и понять, / Я не могу, что значит отдыхать". И при этом бездельничал, не зная, как действовать.

Хотел сделать что-то, чтобы все заинтересовались. Верил,

что его будущие дела войдут, как кирпичик, в грандиозное мироздание будущего, и сомневался. Чем могу быть полезным другим людям, и даже себе, а не какому-то обществу?

Даже не знал толком, что такое народ, государство. Некое глубинное сакральное нечто? Структура власти, иерархия граждан государства? Скопления людей, в чем-то однотипных, и в то же время вразброд? Или в них таится путь в нечто божественное, к чему стремится вся вселенная? Во всяком случае, именно это казалось смыслом, который поддерживал его всю жизнь.

Он хотел прославиться, еще не понимая, в чем отличие людей известных от неизвестных, кроме того, что их имена треплют в ТВ и блогах, и они такие же, как все – готовы на харрасмент, ревнивы к взглядам прохожих: узнают ли? Чехов недолюбливал людей своего времени, Набоков плохо отзывался практически обо всех писателях. Дело в том, что каждый человек – яркая индивидуальность, со своими скелетами в шкафу, и тот, кто ее в себе остро чувствует, принципиально не может быть согласным с другими.

Казалось, ему рано пришло откровение, отличающее его от тупого подростка, не знающего цели, – божественный смысл, который будет владеть его поступками и придавать силы до конца жизни.

Но неожиданно влезали грязными сапогами взрослые дяди.

– Мальчик-то странный.

– Не наш, ой, не наш!

Отец, гордящийся своей интеллигентной профессией счетовода, строго сказал:

– Не разговаривай об этом с другими, не поймут.

Он не знал, что в нем не то, да и вряд ли кто мог бы сказать. Была ли это беспамятная восторженность новорожденного, еще не узнавшего реальных катастроф, ослепленного самой вселенной, в которой нет общественных страстей? Не может быть, чтобы он сформировался из восприятия пустой глади океана. Наверно, все от генов стертой историей среды, с ее химерами в сознании, как сказал бы писатель В. Пелевин.

Мама гладила его шевелюру. «Какой ты красавчик, мой сын!» Он влюбился в одноклассницу, и робко кружил вокруг нее. Она словно не замечала, и через полгода его прятаний и подглядываний вдруг насмешливо сказала: «Слюнтяй!» И презрительно отвернулась. Наверно, он был начитанным филологическим мальчиком с сомнениями, а девушки покорно склоняются перед властным загорелым мачо с бычьей шеей – защитником и охотником за добычей. Отчего могут поплатиться из-за его тупой самоуверенности.

Так, с самого начала осознания себя, он был напуган открывшейся опасностью жизни – чем-то неминуемым, как рок в древней трагедии «Царь Эдип» или в "Процессе" Кафки.

Может быть, это незаконность его трепетного существова-

ния, впоследствии развернувшаяся в ощущении незаконности созданной им независимой общественной организации, к которой власть относилась настороженно. Откуда та детская зажатость – от страха высунуться за стены системы, может быть, даже ощущения непреодолимости барьеров природы испуганного с рождения живого естества? Откуда лживое поведение из страха выдать себя? Наверно, не только от не дающей высовываться монотонной повседневности, это – что-то метафизическое, страх временности и смерти. Он был естественным с родными, но поскольку считал всех окружающих близкими, то попадал в нелепые ситуации.

С юности недоумением для него была отдельность людей, живущих сами в себе, и не видящих извне его страданий (об их страданиях как-то не думал). Страшно невнимание. Человек рождается весь во власти материнской близости, и недоумение от невнимания приходит, когда он отделяется от матери, от семьи. И сам теряет зависимость от других, то есть близость слабеет. Отделенность, забывание – это, наверно, результат естественного развития, как удаление звезды от своего созвездия, и страшный грех.

Ясно, что люди рождены, чтобы отвоевывать для себя пространство и пищу, чтобы не умереть. Но почему у них такая непреодолимая эмпатия, желание любить? Может быть, не только близких, но и человечество, животных, планету? Разве не благо – разделение, специализация, уход рукавов развития в отдельные ветви? Но без эмпатии не было бы ре-

лигиозной веры, синтезирующей науки, любви противоположных полов, самого развития – для достижения единства? Ничего не понятно.

Повзрослев, он по-другому увидел почерневших от солнца и работы чужих и непонятных взрослых в грязных сапогах. Перебирал фотокарточки в заброшенных в родительском сундуке альбомах в толстых коричневых обложках с выбитой затейливой вязью. На них глядели глупо наивные лица предков и их друзей, в гимнастерках и косоворотках, и на желтых от старости оборотах читал:

"Вася, во-первых, пусть эта карточка напомнит тебе о том, что у тебя (по изголовью) есть преданный друг Коля, а во-вторых, по разоблачению походов... Молчу, молчу. Емельянов".

*"Друзьями мы родились на земле
Но жизнь сдружила нас еще сильнее.
Мы с гордостью порвем преграды на себе,
Чтоб были мы еще дружнее.*

Червинский."

"Миша! Судьба нечаянно столкнула нас с тобой, но зато во время совместной службы так крепко связала нашу дружбу, что конца коей, я полагаю, не будет до дня нашей кончины жизни. Я со своей стороны тебя как одного из всех наилучших товарищей и друзей, которых имел в жизни, не забуду никогда, не забывай и ты меня. Я, оставляя тебя, всегда буду иметь тебя в душе. Ташкент, Скародум".

"Друзьями мы сошлись с первых встреч в рабфаковских коридорах, друзьями и расстаемся. Очень рад, что это сбылось и не забуду долго я, где ни буду, буду всегда кричать тебе здорово, Ашнайды, и буду жать твою правую руку. Приходько".

"На память другу – сослуживцу по Красной армии Михаилу Трофимовичу Фролову.

Вашу я просьбу исполняю

Ваше желание я пишу

Успеха, счастья желаю

Не забывать меня прошу".

"Коля! Помни и не забывай, что жизнь только тогда хороша – когда мы пьем ее полными кубками. Червяков".

"Оце як ты захочишь подивиться на цю мордонию, на цом мордонієі побачишь мене бо я тут є. Передык".

"Сожалею, что ты меня до сих пор не понял, что я есть за человек. Коля Ермолаев".

И еще, и еще пожелтевшие фотокарточки, порванные с боков.

Человек по природе добр! Они оказались не такими страшными дядьками, кого он встречал в реальности и представлял по книгам о жестокости революций и войн, – внушительными и чужими, кроме, конечно, родителей, совсем своих и не имеющих ничего необычного. В них оказалась наивная притягательность и нежность, несовместимая со

страшным временем войн и голодной жизни. Что это означает? – думал он привычным вневременным сознанием юнца. – Древнее, сущностное доверие между членами племени? Фон человеческой истории? Мистическое чувствование живого, возникшего, вероятно, из глубин космоса?

Вроде бы, он нашел смысл всей жизни, но все время продолжал искать – что? Поглощал книги в большой отцовской библиотеке и поверял чужими смыслами, раздумывая в дневнике, – мучился еще какими-то уточнениями. С упованием прочитал логотерапевта и экзистенциального психоаналитика Виктора Франкла, пережившего Освенцим: Главное – сделать жизнь осмысленной. Ценности не зависят от меня, а значит и высший смысл вне меня, как верующие видят смысл в Боге. Только высший смысл для каждого конкретный, его ищет каждый индивидуально, для себя. Выстоять в концлагере Франклу помогла любовь к матери.

Найденный в детстве смысл оборачивался отрезвлением, и приходилось снова искать (признак неустойчивости найденного). Можно стать на вершину осмысления себя и роли истории, чтобы не погибнуть в освенцимах, но и это не решает проблемы. За этим должен быть высший смысл, который религии, например, находили в божественности бытия.

Он не понимал, почему был занят изнурительным перемалыванием словесного вороха в поисках смысла жизни, изредка бессловесно вспыхивающего на мгновение, – и мимо

его постоянно устремленного куда-то взора проходила чудесная жизнь, все милые сердцу нормальных людей мелочи быта, картины природы, здоровье, веселость.

Молодость его была насыщена отчаянием, счастьем и неприятностями (судя по оставленному дома дневнику).

Отчаяние юношеского одиночества было в институте. Когда он «расписался» со студенткой, наступило счастливое нищенство вдвоем.

Непонятная связь с женщиной – нечто, обостряющее ревностью, что, наверно, и есть любовь. Женщину любят, когда чувствуют ее холодность, и это возбуждает ревность к некоему чужому мужику, склонившемуся над ней целуя, который, возможно, есть не только в его, но и ее воображении. А если на самом деле? На этом попался Маяковский, которого привязала к себе Лиля Брик своей подозрительной, вливающей горечь холодностью.

Даже если муж прожил с нелюбимой женой много лет, и она стала привычной и по-настоящему родной, мысль о ее любовнике, воображаемом или нет, пронзает болью.

У него с ней не было одинаковых воспоминаний, она помнила мелочи, вроде посещения магазина когда-то, в каком-то году. В ней это было обаятельно, и он с удовольствием подыгрывал ей. Не видел, какая она – молодая, красивая или уставшая и немолодая. В ней всегда светится нечто большее, чем молодость – глубинная правдивость души и благо-

родство жертвенности, долга перед близкими, которым она отдает жизнь.

Они жили рядом, физически заботясь, больше она, но духовно не знали друг друга, может быть, лишь догадывались. Тут нет ничего странного, большинство людей живет рядом всю жизнь, и не знают друг друга. Зато узнавал в ней желанную женщину сразу.

Бывают люди, у которых суть жизни отделена от слов. Это женщины. Они не придают словам особого веса, "наше все" Алла Пугачева, по ее словам, не осмысливала себя, но пела, то есть, выражала себя "всей сущью".

Мир еще верит словам. Как сказал кто-то: искусство есть вотчина мысли, а мысль придает миру лишь видимость порядка, убедительную для тех слабых умом, кто верит в эту кажимость. Но даже это, возможно, лишь временное пристанище.

Жена не принимала его жажду познания – все понимала и так, без слов, и усмехалась, когда муж философствовал: «Опять об умном!».

Когда в юности, в дневнике, Гордеев стал оформлять события в слова, он записывал их в словах буквально. Казалось, слепо помечал, чтобы осмыслить потом. И потому слова были голыми, язык бедным, не осложненным опытом чувств. Хотя понимал, что строка должна быть сложной, музыкальной, сублимирующей чувства, историю, мироздание. Еще не умел поверять слова "глыбой действий", не было

жизненного опыта.

Он примерно так же не понимал жену, как и творчество. Она, после прочтения его первой и единственной рукописи о их взаимоотношениях, где он пытался быть откровенным, оскорбленная, резко отрезала разговоры об «умном», презируя это в нем. Но отношения привычной заботы друг о друге оставались, правда, больше ее к нему. Она любила его самого, а не его болтовню. Было ли это любовью? Не знал, но жил в ее заботах, как в люльке.

Так вязались ростки его будущего, которые вскоре обрвутся.

После института жизнь неприятно обернулась участием в лихорадочном выполнении планов в некоем министерстве, состояние, как на горячей сковороде. Он был контролером по регионам, ездил в командировки. В этой кипучести существования все же было что-то монотонное, и казалось скучно вечным. Он писал искренние отчеты, для разнообразия похожие на художественные тексты. Заместитель министра читал их удивляясь, словно что-то мешало ему, но относился к необычным отчетам подчиненного благосклонно. Ревнивый начальник его отдела тоже сдержанно одобрял. Но, когда сокращали штаты, уволил его в первую очередь.

Тогда Гордееву открылся мир, и он оказался неприятно сложным.

Увидел, что не только он, но и все человечество живет не на утлом космическом корабле планеты Земля, а все еще растворено в некоей новизне бесконечности, чувствуя себя безмерным и бессмертным, как будто может покорять пространства, не имеющие границ. Но практика круто обрезает горизонты возможностей.

Тут он мыслил стандартно: эволюция – это долгое накопление результатов действий поколений, что постепенно теряет живую энергию, становится традицией: системы, иерархии, учения и открытия. И внезапно вспыхивает революция, переворот, и все вдруг обрывается, вместе с ненавистью к старым оковам, обрушивает бывшую сложность жизни, и приходит опрощение. Воскрешаются старые мифы, цивилизации, похожие на архаичные месопотамские деспотии, где один вождь владел всем имуществом народа. Разгуливается анархия, воля вместо свободы, рубящая направо и налево. Несмотря на то, что проживание на планете стало намного цивилизованней, и ситуация человека стала еще более благоприятной и сытой, чем в предыдущие, тем более темные, эпохи. Но сытые мгновенно забывают, что были когда-то го-

лодны.

Нет, космической ядерной войны Гордеев не ждал – мир уже осознал, что может погибнуть вместе с провалившейся под ногами землей. Но будущее не внушает ничего хорошего.

Последняя недо-эволюция, с постоянными спорами: ввести ли снова смертную казнь, заканчивалась. Нет ничего более значительного после передела мира в конце второй мировой войны, чем наступающий экономический и политический кризис, обрушение всей мировой экономики и валюты, отчего становится шаткой и жизнь людей. Мировой порядок ломается, страны уходят из великих союзов в свои национальные границы, традиции. США перестали быть доминирующей державой. Мир перешел на чисто экономическую конкуренцию, как предсказывали великие экономисты Запада. Группировки стран больше не были непримиримыми политическими соперниками, перешли на экономическое соревнование. Хотя по-прежнему ссорились, порой не из-за жирного куска, а из нежелания уступить, чтобы не "уронить достоинство".

У него было ощущение, что он попал не в то время, – люди живут сегодняшним днем, видят будущее в рыхлых дождливых облаках, потеряли смысл существования. И растет усталость большого числа людей, тупо смотрящих в серую сте-

ну будущего. Раньше хоть особенно нетерпеливые приходили в бешенство, когда силовые структуры игнорировали их требования. А те в испуге от очередного ожидаемого «май-дана» выдвигали частоколы рядов национальной гвардии – «космонавтов» перед вегетарианскими митингами интеллигентных толп, осторожных от нежелания быть обвиненными в беспорядках.

А теперь настало непонятное спокойствие.

Властвующая система напоминала старые авторитарные системы, но превратилась в чрезвычайно мягкую на вид, усложненную, хитроумную и изощренную, чтобы сохранить себя для спасения нации. Конституция, законы сами собой приспособились так, что любое насильственное действие власти оказывалось законным, не придерешься.

В старые времена всем заведовал центральный комитет партии. Теперь стали править силовые структуры с помощью вооруженной национальной гвардии с горячими сердцами и холодными руками с дубинками. Народ, парламент, суды нельзя было оставлять без присмотра, – сожрут! Правда, кто сожрет, было неясно.

Увы, думал Гордеев, у всех в подсознании еще сидит привычка верований революции 1917 года, когда к власти пришли сначала мягкотелые либералы, а потом их смели самые решительные – жестокие и необразованные, истреблявшие «гнилую интеллигенцию». Чекисты, массово истребляя

негодных для новой жизни, не видели в человеческой личности ничего живого. Бухарин хотел примирить человеческое с государственным, пища покаянные письма «дорогому Ко-бе».

Сакрализация вождей – оттуда, это когда в них исчезает человеческое, и его воспринимают как божественного судию. Возникает аура – холодок обожания живого вождя, или мистическое ощущение в музее при виде слипшихся волосков великого завоевателя. Или это холодок перед бездной космоса?

Сакральный ужас дотянулся оттуда и до поколения Гордеева – в подсознании, хотя новые вожди стали обычными людьми. Об этом говорит повсеместная лояльность и самоцензура, вздрагивающая от запрещающих постановлений власти, некоторые покорные прытко бегут исполнять, впереди всех.

В наше время насилия нет. Вырвано жало жестокости, как при смертной борьбе римских гладиаторов, и наступили состязания вроде спортивных (правда и они превратились в средство для быстрого обогащения). Есть только мягкое воздействие на противников – путем надавливания на болевые точки. Это отстранение от выборов кандидатов противников (бракуя их подписные листы лингвистами и графологами в погонах). Увольнение митингующих, оглушительные штрафы за потоптанную траву в скверах, не повышение в долж-

ности, арест на какой-нибудь десяток дней (на годы – вызывает мгновенный отпор широкой общественности!), лишение родителей права на детей. И лишь иногда старые простые воздействия – неизвестные личности ломают ногу или бьют в живот участников митинга.

И наоборот. Перед выборами власть одаривает протестующие слои граждан одноразовыми выплатами, и протесты затихают.

В ответ противники мирно распространяют в Интернете на одиозных чиновников клеймо "не рукопожатных".

Государственная пропаганда на телевидении, четкая, как красные стрелки десяти сталинских ударов, тоже перестала доминировать в умах массы, даже провинциальной. Она стала прибежищем сморщившихся пропагандистов-консерваторов. И наоборот, стали всесильными масс-медиа Интернета, – убежище демократов, радикалов, кроющих матом, и болтунов, не отвечающих ни за что.

Монотонность неподвижности колоссальной скорости движения утомила меня. Может быть, крутился вокруг оси?– не знал. Шлем освещало солнце, вышедшее из тени Земли, и тогда меркли звездочки, снова погружался в тень от Земли, и ярко вспыхивали звездочки. Неподвижно лететь, ожидая чего-то, что уже никогда не случится, было невыносимо. И пытаюсь уйти в ту, иную жизнь, ставшую иллюзией

надежды. Осмыслить, наконец, то, что подвигло оторвать ее пуповину.

Тот смысл, который всегда носил в себе с детства, Гордеев хотел претворить в жизнь. Перед ним вставал невообразимо огромный Левиафан, которого невозможно было одолеть. Но он решился ринуться на него со всей безграничной силой юношеской самоуверенности. И создал независимое общественное движение «Голос истины».

Сразу в нее хлынули все страждущие проявить себя, и отчаянные активисты, и те, кто не желал работать по-черному. Впрочем, именно в такие романтические общественные организации, как его, всеядные и не требующие рутинной работы в госучреждениях, охотно прилипают люди мало знающие и ленивые, уютно расположившиеся под прикрытием программы, направленной на истину и добро. «Голос истины» стал местом, куда стекались многие, как со всех сторон съезжающиеся к святой Матрене, чтобы приложиться к ее иконе.

На основе споров участников составлялись концепции и программы, некоторые участники тайно давали большие взносы, что вызывало подозрения мастодонтов: «из карманов Госдепа?»

Гордеев терпеть не мог иерархичности всякой организации, основанной на командовании и подчинении. Но при-

шлось требовать, стучать кулаком, бегать, просить, – иначе никак не удержишься на плаву. Он к этому не был готов. Тут нужно наслаждение насилием или мстительная злоба на ленивую сущность человека, трепка нервов, доводящая до нервного срыва.

Участники Движения думали, что все делается само собой, а трепля на конференциях – основное дело. Но организация работы независимого движения оказалась для Гордеева чем-то безвыходно тяжелым, исключаяющим нормальную здоровую жизнь человека.

Он надеялся объединить всех. Но это сборище не объединится, и есть ли смысл бороться за объединение? И ощущал постоянную усталость.

Арендованный офис Движения был обычным прямоугольным «сараем» в девятиэтажке, со стандартными столами и стульями из соседнего мебельного магазина и компьютерами, за шкафами уголок – кухня, бегать по ресторанам было некогда. На стене большой выносной плакат с брендом «Голос истины»

Сидя в своем "сарайе", не чуя ерзающего стула на колесах, он просиживал над компьютером, отбиваясь от противников и доказывая свое. С несколькими сотрудниками составлял программы, писал в интернете статьи, воззвания, организовывал собрания и митинги, вел бухгалтерскую тяготу,

и даже подметал свой «сарай».

В концепции Движения, которую надо было утвердить на предстоящем съезде всех участников, он стремился соединить десятки течений, без объединения которых невозможно добиться полноты. Любимый замысел был ясен, но вот выразить его в словах было невозможно, а иногда терялся в мелочных заботах. Он стремился только к некоей цельности.

Перед съездом в офисе собрались активные сторонники. Не совсем понимали цели Движения «Голос правды», которые Гордеев собирался предъявить съезду.

– Хотелось бы расшифровать, – скромно попросил Михеев. Друг Лева Ильин продолжил:

– Да, мы с Михеевым не понимаем сакрального смысла твоей концепции.

– Вы собираетесь повернуть колесо кровавой истории? – спрашивал примкнувший маститый писатель с седой благородной шевелюрой, аккуратно причесанной назад, и осторожным выражением на сытом лице.

Гордеев вздохнул.

– Надо начать с начала, дабы поняли непосвященные. Все в физическом мире видится относительно наблюдателя. Что такое относительность?

Лева сказал:

– Это когда с любимой женщиной вечность кажется мгно-

вением, а сидя голым задом на горячей сковородке – мгновение покажется вечностью.

Михеев заржал.

– Вот теперь понятно. А еще пример относительности: смотря по какую сторону туалета вы находитесь. Только причем тут наша концепция?

Речь Гордеева была похожа на лекцию.

Так что же такое относительность бытия? То, что доказывает теория относительности Эйнштейна? Или, по Ленину, «историческая условность приближения пределов наших знаний к истине»? Или шунья, шуньята – "пустота", "иллюзорность", "относительность", то есть феномен возникает мгновенно, зарождается и тут же исчезает, он ложный и нереальный, потому и называется "относительным". У буддистов вещи не имеют своего "я", так как они порождены причинной зависимостью. Все дхармы есть только сознание.

– Это все пустые слова, – сказал Михеев. – Ближе к делу. Гордеев рассердился.

– Теории относительности – рассудочные, от головы, не имеют никакого смысла. Мы не можем ничего узнать о природе человеческого переживания и бессилии человека перед познанием истины.

– Что он переживает, сидя задом на сковородке? – спросил Лева.

Все снова заржали. Маститый писатель с осторожным выражением на лице наострил ухо на что-то предосудитель-

ное.

– Поясните.

Гордеев продолжал упрямо:

– Теориям относительности надо придать человеческий смысл: оживить благоговением перед жизнью или отчаянием от ощущения полной утраты смысла, как писал психоаналитик Виктор Франкл, переживший Освенцим.

Ему вспомнились его юношеские стихи, и он, уже не боясь, как это было раньше, продекламировал:

*Тяготенья земного поля —
Тяготенью любви вы праматерь, —
Сохранение форм бытия,
Сохранение жизни и памяти.
Как таинствен, велик переход
Из сцепленья простого, без Бога,
В потерявшую видимый ход
Бесконечную нежность любовную!
Во Вселенной бесстрастия нет,
Хоть основа проста — лишь сцепленье.
Нету мифов в ее глубине,
Есть любовь и боль разрушенья.
Может, в ней, в первозданной любви —
Суть единой теории поля,
То, над чем разбиваются лбы
Всех творцов науки бесполой.*

Как же сейчас отзывается то, что инстинктивно жило еще в юности!

– Ну, ты уж совсем раскрылся, – устыдился Лева Ильин.

– Тут не вечер дилетантской поэзии, – сказал маститый писатель. – Так что же с субъективностью? Как примирить ее – саму живую жизнь, ее переживания с бесчувственной объективностью стороннего взгляда, словно видящего не близкое переживаемое им, а из далекой истории? Или остающееся вне поля сознания?

– Заполнить все переживанием с любимой дамой? – предположил Лева.

Гордеев оскорбленно посерьезнел.

– Как соотносится «даль и близь» в переживании состояний? Если я волнуюсь за близкое мне, хотя оно микроскопическое при взгляде из космоса, то будет ли мое переживание таким из космоса – болит ли это в далеке? Наверно, человеческое чувство не зависит от расстояния, пространства, взгляд на мир самой жизни из любой точки – и есть переживаемый объективный мир. А вне поля переживания нет другой объективности – существует ли она (кажется, Кант)?

Гордеев давно догадывался об этой истине. В молодости со щенячьим восторгом прочитал свои мысли у Анри Бергсона и Льва Толстого. «Мы никогда не достигли бы прошлого, если не были в нем расположены» (А. Бергсон), то есть прошлое, настоящее и будущее – всегда настоящее, пока че-

ловек жив. «Время есть то, что ограничивает меня, отделяя меня от различных форм жизни, в которых я был и буду... Жизнь моя является не во времени, пространстве, но это только проявление ее. Сама жизнь, сознаваемая мною, сознается мною вне времени и пространства... Воспоминание есть сознание вневременности моей жизни... Память уничтожает время, сводит воедино то, что происходит как будто врозь» (Л. Толстой).

И только сейчас эти мысли вошли в него глубоко, стали собственным переживанием. Да, в отличие от теорий относительности в живой жизни не существует пространства-времени. Есть только бесконечная длительность любви и боли за близких, равные бессмертию, пусть хотя бы жизнь длится мгновение (парадокс?).

– Тогда что такое сознание? – не унимался писатель с сытым лицом и седой благородной шевелюрой. – Способно ли увидеть мир целиком? Или это лишь лучик в темном космосе, спрятавшем окончательную цель? Станислав Лем писал о не растяжимости нашего сознания, неспособного охватить все богатство мира, как у слепца, стучащего по тротуару, чтобы не столкнуться со стеной, и едва ли знающему свой околоток. Сознание, как слишком короткое одеяло, может прикрыть малый кусочек чего-нибудь, но не больше. О том, что на земле проходит даже в одну минуту, невозможно узнать, массмедиа пропускают все, что не является протокольными заявлениями вождей, взрывами в городах,

наводнениями и пожарами, хотя пятимиллиардный фон событий наверняка существует. Знание о чем-то большем существует в сознании смутно, его нельзя переживать. Как не услышишь непрерывные крики погибающих тысяч людей за одну минуту. Абстракцию нельзя почувствовать, пережить. Переживать можно только микроскопическую капельку, вынутую из моря окружающих нас людских угроз. Человек не отличается от амебы, плавающей в капле воды, как если бы ее границы были границами мира.

Гордеев возражал, ощущая, что иронию в слушающих.

– Да, сознание избирательно, но, последовательно освещая и укладывая в архив памяти мир, в своем подсознании составляет карту панорамы чувственного мироощущения. Тот же Лем написал: "Однако вспышка молнии в грозу раздирает мрак, и в доли секунды замечаешь огромность мира, и хотя мир снова погружается во мрак, но в памяти остается образ мира".

Его прозрение «раскрытия-слияния» с миром в юности и было такой вспышкой молнии.

– Она способна обратить далекие, вне актуального луча видения жизни, радости и страдания живых существ на любом прошлом отрезке истории, и в настоящем, и даже в будущем. «О Руская земле! Уже за шеломянем еси». И сразу оживает душа древнего русича, со всеми его переживаниями, и становится современной, родной.

Гордеев так вдохновился, что забыл о соратниках.

– Наше изумление перед бытием настолько велико, что думать, что ты одинок во вселенной – это неправда. Беда – только внутри твоего пузырька существования. Не в том ли бессмертие искусства, умеющее оживлять переживания человека в истории?

Собравшиеся зашумели. Некоторые стали уходить, хлопая встроенными в кресла столиками.

– Мы что, пришли слушать пустую философию? О чем концепция?

Гордеев спохватился, и обозлился на них.

– Вы не поняли? Не в этом ли невежество, то есть узкий луч сознания, слепота, с которой нам придется бороться? Которая не чувствует боль вокруг, и собственная смерть воспринимается концом всего? Слепота, не способная вывести ваш разум из своего жизненного пузырька существования.

– Он еще и Учитель жизни! – возмутился кто-то примававшийся.

– Моя цель конкретна: выйти из пузырьков, в которых копошимся как амёбы, в необозримый океан. Бороться против замкнутых философий и теорий отчуждения, в которых рождается агрессия. Для этого мы создаем независимые радиостанции и газеты, фонды, школы. Чем это не конкретная концепция?

Он не понял: уходили неопределенно или разочарованно?

Истина видна только с космического корабля, — очнувшись, думал я, пытаюсь для разминки поворачиваться, медленно, как гусеница, — когда улетаешь от кипящей глупыми страстями планеты Земля в необъятную ночь космоса, безмолвно и навечно.

Остается думать не о том, чтобы изменять мир насильем или воспитанием в человеке духовности и интеллекта, эти смыслы в космосе уходят, истончаются. А найти иной, неведомый нам смысл, перед вечно сияющим Млечным путем и манящими туманностями из звезд.

Может быть, здесь успею найти смысл, которого нет и не могло быть в той жизни, где не находил выхода из мучительной бессмысленности работы и страха смерти близких. Здесь, наконец, можно увидеть, со стороны, причины прошлой умственной усталости и равнодушия. Вот чем ценно мое положение!

Итак, я выбрал сторонний взгляд на катастрофу, а не истерику внутри этой катастрофы.

Истина зависит от степени отстранения, чтобы осознать пути выхода из боли. Тогда понятны слова Чехова: «Отчего Чехов близок? Он был открыт вселенной, тоскуя в провинциальной дыре неряшливых интеллигентов, не знающих, чем жить. И тосковал о небе в алмазах.

Вот где тайна гения будущего. Это тот, кто взвалит груз главной разгадки бытия на себя, не сваливая его на чужие плечи. И не будет ослеплен, может отстраниться

так, что будет смотреть на страдания всего живого «холодным как лед». Чтобы открыть причину страданий людей.

Сроки подготовки съезда поджимали. Стол шефа был центром подготовки к сражению.

Нанятый штат – вольные сотрудники не были подготовлены к чиновничьей работе, не знали форм переписки с партнерами, а главное не подчинялись дисциплине.

Все, казалось шефу, заняты только собой, своими удовольствиями на тусовках, и заботой о переругивающихся семьях, обижались на маленькую зарплату. Это было естественно – они в своей "считалке" примерно сравнивали свою нищенскую плату общественников и стоимость рабочего дня. Он сам такой, хочет, чтобы жена была одета, любит поспать, не бежать куда-то сломя голову, а понадеяться на других.

Но на каждом месте своя ответственность, он не мог потому, что отвечал за них за всех.

Они разбредались куда-то, когда вот-вот сорвется съезд, и Гордеев что-то делал без них, ощущая, что разрывается на части. Злился на бухгалтера Михеева, забывающего подготовить во время смету, а то вдруг он смывался с работы, и снова появлялся, как ни в чем не бывало, словно и не было этого зияния отсутствия.

Михеев объяснял свою лень: не мог напрягаться так, как

шеф, по идейным соображениям. Он смотрел на мир не односторонне, как другие соратники, а в целом, видя и положительное. Как много повсюду делается для людей! И потому не надо напрягаться до усталости и озлобления.

– Поэтому я свободен, как ветер! – гордился Михеев. – Живу, как хочу.

Лева Ильин усмехался:

– Как хорошо ни за что не отвечать! Ходишь на свободе, в робе и резиновых сапогах, как охотник, вырвавшись из бочка.

Эlegantный американец Алекс, аккредитованный при Движении, бодро восхищался, хлопал его по плечу.

– Свобода – это хорошо. Be independent! Пока тебя не похоронили с «протянутыми лицами», как вы говорите, и ты исчез для history.

– Брось свои кислотно-кишечные убеждения! – морщился Лева Ильин.

—

– Куда делся Михеев? – срывался Гордеев. – Что с залом заседаний? Где букет для президиума?

– Уже стоит, – пугалась Алена.

Это было невыносимо – чудо в его душе вязло в каких-то гасящих все прозаических препятствиях.

Михеева все не было. Сейчас Гордеев ненавидел своего соратника.

А тут еще позвонила жена, с кем он там? Считала, что он мало делает по дому, скептически относилась к его сомнительной работе. А его отсутствие считала пустым времяпровождением, да еще неизвестно с кем.

Заседали в специально выделенном государством Доме для собраний и конференций независимых общественных организаций, в потертот от постоянных заседаний конференц-зале. Ввиду начавшейся экономической депрессии, ударившей по семейному бюджету, собирался полный зал встревоженных людей.

Гордеев смотрел из президиума на галдящую толпу в полукруглом зале. Какой Молох собрал ее здесь? Она не изменилась, встрепенувшаяся в тревоге за собственную жизнь, как в бурные дни революции семнадцатого или девяностых годов прошлого века. Со всех слетела обычная диванная лень – слишком стало горячо, у каждого затронули большую жилу – кровные интересы жизни и смерти.

Припекло маргиналов, не подержанных «государственным ресурсом», которых телевидение обзывало пустозвонами и болтунами; и средний класс – предпринимателей, рестораторов, частников средней руки, благодарных власти, что их не закрыла.

Много было иронически усмехавшихся сытых людей, прикормленных нынешней властью, и представителей компаний, поддержанных «госресурсом», и даже его держателей чиновников, убежденных, что власть спасает от гибели Рос-

сию, и срывающихся в злость от действий США, от ставшей демократической Украины, и либералов. Либералы издевались над ними:

– Беситесь, потому что принимаете всерьез! Если считаешь их ничтожными, пройди мимо.

Обычно ораторы исходят из противопоставления поращенной родины – и ожидания светлого дня ее освобождения. Здесь же не было такого противопоставления. Раньше думали о родине, теперь – о себе. Была лишь тревога за пошатнувшуюся жизнь. Только бескорыстные молодые и горячие требовали идти на Кремль.

Гордеев улыбался. Он вырос из их штанишек

Нахохлившийся телеведущий, встревоженный понижением его рейтинга, предостерегал:

– Юнцы, куда вы против государственной мощи! Маргиналы!

Он маленький и корявый, а на заставке к своей пропагандистской телепрограмме выглядит античным героем, мужественно повернутым в профиль.

Маститые художники слова, кисти и кинокамеры почему-то оправдывались:

– Каждый должен заниматься своим делом, и оттуда разить врага доступными ему средствами.

В них говорило «холодное сердце» творцов, бесстрастно испытующих общественную суету. Гордеев понимал: этому

дали возможность печататься, а этому финансировали перестройку его театра, а этот снимает патриотический исторический фильм. Коллаборационизм бессмертен!

– Работать в Системе – значит быть встроенными в преступную хунту! – злорадно срезали соглашателей молодые и горячие.

– Значит, все, кто работает – а работают в Системе все – преступники? – ядовито усмехаясь, вскричал телеведущий. Тьфу на вас!

Истово осенил себя крестом и плюнул.

Четвертые отвечали:

– Ничто не поможет, пока государство не ввергнет народ в беду, и тогда он свергнет его. Учтите, мирным конституционным путем.

Гордеев втайне поддерживал последних.

Представитель домового комитета, защищающего спортивную площадку для детей, предложил:

– Надо создавать корпоративные группы и союзы, чтобы они представляли интересы своих профессий.

Собиралось и много любопытствующих зевак, принимавших одинаково восторженно оратора с одной точкой зрения, и другого – с противоположной. В заднем ряду сидели не улыбочивые и нелюдимые, наверно, бывшие охранники и еще некто.

Американский журналист Алекс бегал между рядами и тыкал в лица известных участников камерой, на бегу задавая

вопросы – он работал одновременно на созданное Движением альтернативное Интернет-ТВ и свою газету «USA Today».

Американец чувствовал себя в безопасности, как рыба в воде, в совершенно чужой стране. Он «гражданин мира» из Нью-Йорка, с генами предков, в Европе волочивших через леса и поля 30-летней войны свои мушкеты, а в Америке, где «Буливар не выдержит двоих», создавших легенды о захвате прерий Великого Запада, о войне Севера с Югом.

Гордеев терялся. Как с такими разношерстными представлениями можно разработать программу "раскрытия-слияния" всех человеческих сознаний в одно, которую он пытался и не мог сформулировать? Но предчувствовал ее еще с детства, как нечто реальное.

Он, со смятением в голове, застилавшим туманом ясные мысли, начал выговаривать выношенное:

– Космическая станция человечества плывет в неизвестное, и каждая тусовка не замечая веселится в своей компании. Тусовки в разных обличиях – тоталитарных или демократических стран, католиков и шахидов, демократов и консерваторов, молодежных сходок, и соседей, шипящих из полуоткрытых дверей. И каждой неизвестно ее будущее. Поэтому выбирают то, что под рукой, вбитое в сознание. Делают глупости, бредя слепо, на ощупь, перебирая камешки на берегу океана истины.

Все страшное на Земле происходит от закрытости для лю-

дей иных горизонтов. Обычно им не приходит в голову – выходить из своих пузырьков существования, насыщенных кипучими страстями интересов и борьбы, как у мелькающих в капле микробов. Это внедренный тысячелетний страх выйти за пределы дозволенного, где опасно для жизни.

Но особенно любопытным хочется выйти за горизонты. Из них выделяются творческие люди искусства, науки. Довольно немногочисленная группа, да и то – большинство их крутится в рамках уже обкатанных знаний.

– А между тем, – осмелел Гордеев окончательно, – можно повернуть колесо кровавой истории, крутящееся вхолостую. Стоит только открыться всему разнообразию мира, и обнажатся более глубокие истины, сразу померкнет серьезность личных обид и злобы, и охватит чувство удивления творчеством людей в истории, и вселится жалость и боль за них, обернувшихся родными и близкими. И речь потечет медовой истиной иных измерений.

В зале послышались смешки.

– Но открыться очень трудно. Путь этот очень долог. Это путь – воспитание целого поколения новых людей. Надо взойти пытливым умом не только на «вершину знаний, накопленных человечеством» (недурно выражался Ильич), но и остроты сопереживания с людьми.

– Опять скатываемся к созданию «нового человека»? – кричал либерал.

– Хотите изменить мир здесь и сейчас? – спрашивал ма-

ститый писатель с густой шевелюрой, аккуратно зачесанной назад.

Он не сорвал аплодисмент. Участники странно молчали. И уже неуверенно продолжал:

– Может показаться, что это невозможно. Совершенствоваться, конечно, можно вечно. Но придет время, и человек станет другим! Когда почувствует, что внутри него уже нет застилающей мир злобы к недружественному противнику, и увидит кипящий страстями мир отстраненно, со стороны. И тогда мир будет в состоянии увидеть истину.

Наступило тяжелое молчание.

Некто в майке-футболке, весь в мелких татуировках, на руках, плечах и груди, и с пучком волос на затылке, не выдержал:

– Когда тебя давят сапогом, ты слепо пищишь. И надо убежать, отстраниться. Тогда увидишь того уroda в истинном свете.

– Да, убежать, чтобы ответить не сгоряча, не погибнуть, а вооружиться.

– А где же боевые дружины? – крикнул кто-то.

– Значит, отказаться от борьбы? – тихо спросил друг Лева.

– Отказаться от ненависти!

Маститый писатель с седой благородной шевелюрой и осторожным выражением на сытом лице усмехнулся:

– Лучшие умы столетиями стремились переломить эгоизм человека. Пока что-то не очень.

Он со стороны наблюдал словесные потасовки.

Зал зашумел.

– Идеалист. Предложи что-то дельное, как нам быть.

Корявый телеведущий фыркнул.

– Собираетесь вынуть зубы у государства? Оно единственное, что может сохранить народ!

От гнева у него даже пропала привычка принародно осмеивать приглашенного в его телепрограмму оппонента.

– И твои доходы! – съязвил кто-то из зала.

Нагловатый наколотый анархист в футболке спросил:

– Что вы там про тусовки, собирающие жалкие камешки на берегу океана истины?

– Это лишь целевая установка, – оправдывающимся тоном объяснил Гордеев. – Для этого мы и собрались – выработать концепцию нашего Движения.

Добивали его незванные представители общественной организации "Экология духа".

– Вы неупорядоченная стихия, с эклектической программой, – говорила самоуверенная дама, целиком поглощенная выработкой единых международных правил сосуществования наций.

На нее засвистели.

– А результаты у вас есть? Что-нибудь конкретное!

Видно, намекали на то, что те переносят международные программы в свою, не ведая, что те не применимы на нашей почве.

Поддержали только представители возродившейся партии анархистов – поклонников теории солидарности Кропоткина, и либертарианцев. Те были в восторге.

– Да это же концепция солидарных отношений анархизма! Наш человек! Даже у животных преобладают общительные привычки. Хотя рядом с взаимной помощью существует и самоутверждение индивидуума.

– Долой государство! – трубно выдал из скрытого волосом рта огромный волосатый анархист.

Непримиримые партии оппозиции переругивались. Поддерживают ли они, Гордеев так и не понял.

Его неожиданно поддержали участники Движения – ученые и конструкторы новейших информационных систем, создатели искусственного интеллекта. Они вносили деловое спокойствие профессиональных ученых. Видимо, беспокоились только за свои детища – научные работы открытия, помня в своих генах непонимание, а в древности обвинения в святотатстве, и сожжения на костре.

– Очень дельная установка, – сказал всегда улыбающийся крепыш с вдохновенно-растрепанной шевелюрой, кандидат наук. – Мир идет к объединению всех разумов в один – всечеловеческий интеллектуальный разум. Это будет мир творчества, и в нем исчезнет ненависть.

Лева Ильин был убежден, что будущее за ними, интеллектуалы информационно-цифрового мира возьмут власть в скором будущем. Ведь они обеспечивают идеи, технологии.

Кандидат наук пригласил руководство Движения в туристическую экспедицию в космос, на космической станции.

Программу Движения "Голос истины" так и не утвердили.

Друг Лева Ильин был раздражен.

– Ты предаешь наше дело!

Гордеев, тоже взвинченный, говорил:

– Ты хочешь поменять одну власть на другую? И чтобы сразу – счастье?

– Я хочу нормально жить, – простонал тот. – По-человечески.

– Вообрази, что нынешняя власть рухнула, и ты стал вождем. Что предпринять? Как сломать старую систему, тормозящую развитие? Конечно, сразу заменить старую прогнившую элиту на новую, честную. Ты перебираешь в памяти из друзей и знакомых честных, но это единицы. Приходится брать из тех, кого рекомендовали, и более того, из-за отсутствия профессионалов, набирать старых мерзавцев, в надежде, что они под присмотром станут другими.

– Это будет не так. Я начну перестраивать систему.

– Конечно, ты не станешь делать так, чтобы к тебе потекли деньги и другие материальные ценности. Но ты станешь бояться за себя. Как быть с твоим страхом быть убитым? С твоим приходом на тебя ополчатся, открыто и прячась, ле-

гионы недоброжелателей. Придется создавать личную охрану, и шире – национальную гвардию для защиты от яростных нападков оппозиции. И ездить под охраной по пустынной столице.

– Неправда. Нас много, сможем переломить ситуацию.

– Хорошо, что веришь в вашу силу.

Лева выговаривал Гордееву:

– Ты что, вообще не признаешь социальных конфликтов? Борьбы с авторитарной властью?

– Боюсь разделения на черное и белое, чужих и своих, когда враги с ненавистью смотрят друг на друга в прицел. Великая французская революция – это величайшая бойня, кровь и грязь, потому что «свои» не считали людьми «чужих».

– А что ты предлагаешь?

– Ничего. Пока все целиком население не ввергнут в ужас поражения и полной разрухи, как население фашистской Германии, ничего не случится.

Завсегдатай офиса американский журналист Алекс покровительственно хлопал его по плечу.

–А на фига вы имеете такую жизнь? Why do you have such a life?

За годы тренировок в русской среде он научился многим русским выражениям. В нем все еще не выветрилась спесь когда-то доминировавшей в мире империи, гордившейся своей исключительностью.

– I mean your way of the deep people pretending to be a

sovereign democracy. Имею в виду ваш путь глубинного народа, принимающего вид суверенной демократии. Это isolation перед врагом?

Лева вскипел:

– А на фига вам-то прикрываться демократическими принципами, как фиговым листком?

Гордеев прервал их:

– Вы же знаете, давно системы демократии и автократии выровнялись. Единственный верховный частный собственник – государство, расстался с единоличным правом управлять собственностью каждого. Но уже все равно нет возврата к прежнему капитализму или, не дай бог, социализму. Сейчас, когда четырехдневный рабочий день, люди стали склонными работать не на личное благосостояние, а создавать вещи, и не для народа, а для удовлетворения более глубокой потребности, своей и народа тоже. Дело уже в умной или дурной власти, какую мы выберем.

Алекс держался обособленно. Поражался этому миру славян, живущему иллюзиями, даже не мог вступить в беседу, настолько чужд был настрой. Только сказал убежденно:

– People come to science. Люди приходят к науке. Все больше тестируют emotions наукой.

– Но эмоции никогда не будут разгаданы наукой! – возразил Гордеев. – Чувство, вдохновение – это от веры, религии. Вера в науку сомнительна, она лишь часть нашей надежды познать мир, сама рождена человеческой надеждой на Спа-

сение.

– Science does not allow emotions to prevail. Наука не дает возобладать эмоциям, – убежденно сказал Алекс.

Лева спросил с издевкой:

– Это что, мир роботов?

– Not robots, but perfect people. Идеальные люди.

– Значит, хотите без эмоций? – вдруг обозлился Михеев.

– It's because you Russians like to get naked. Русские любят обнажаться. Это противно.

– А что не противно?

– O'key, нельзя personality раскрываться, как вы говорите, до кальсон. И нельзя дотрагиваться.

Михеев окончательно сорвался.

– Пришли, захватили весь мир, пока не дали по зубам! А где Русь? Наша гордость нации!

Алекс воззрился с удивлением.

– Я о достоинстве personality. What does this have to do with relations between States? При чем тут отношения между государствами?

Сам Гордеев не особенно думал о судьбе страны и планеты, хотя так думать было принято. Он желал, чтобы его больно не толкали под дых, чтобы наступило время его детской мечты о мире «безграничной близости и слияния». Надо было определяться, понять то, что есть у него внутри и требовало выхода. Были ли эти поиски себя равнодушием к окружающим людям? Он чувствовал, что его место на сто-

роне света, но методы борьбы отвращали его из-за мрачных отношений между участниками.

Короче, надо было, чтобы его организация выживала и побеждала. Но – без противной душе процедуры продирания сквозь чертополох жестокого противодействия и ненависти.

Может быть, он не вовремя поднял эту детскую идею, что лелеял в своей душе, но методы, которыми приходилось действовать, терпеть не мог.

Михеев, старавшийся вникнуть в споры, вздыхал.

– А я не знаю, зачем живу.

Лева недоуменно оглядывался на него.

– Тебя не устраивает твоя жизнь?

Тот кокетничал:

– Не знаю, почему, но я был бы утешен, если бы оставил след.

– Ты подотри за собой, нанес грязи!

Потом Лева возмущался:

– Болтун!

– Он меня слушает и сочувствует, – хмурился обмякший Гордеев. – И учится на своих ошибках.

Может быть, он страшно привыкает к тем, с кем тесно общался, и больно расставаться с привычным. Да еще всегда сочувствующим ему.

– Почему ты его не выгонишь?

Лева не понимал, не представлял последствий разрушения зыбкого порядка. Да и где найдешь непритязательного бухгалтера.

– Других писателей у меня нет. Придут такие же. И потом – он не предаст. И многое мне советует.

Была еще причина, почему Гордеев держал его при себе: прислушивался к его мнениям, и поступал наоборот, и всегда решение выходило верным.

– А другие болтуны?

– Они пока неопытны, научатся.

– Идеалист же ты!

– Я такой же, потому прощаю их.

И думал: разве я не стремлюсь уйти в свободу безответственности, как Михеев?

Над нелепостью Михеева подшучивали. От него прятали все ломающееся, но он и тут находил, что поломать. То он вдруг панически кричал у двери – так вертел ключом, что испортил замок. То отказывался от лишней нагрузки не по своему профилю, например, подметать, оправдываясь незнанием, как это. Очень удобно не знать, всегда можно свалить на другого!

Он приходил на работу в грязной рабочей одежде после работы на своей «фазенде» за городом, нелепо постриженный (подстригал себя сам), из-за чего было стыдно перед по-

сетителями; забывал мыть свою посуду после еды, отчего ее брезгливо мыли другие, наверно, и в туалете пйсал мимо раковины.

Секретарша Алена, с детским личиком, в короткой юбочке была огорчена за Гордеева. Взглядывала на него пронзительными черными глазами. Ее полные колени под столом выглядывали, как будто выше не было ничего. Он оглядывался на нее, и без надежды погружался в ее юную, без тяжелого жизненного опыта, призывную женственность. И хотелось все начать сначала. А жена?.. Там было другое, не то, что вначале казалось полным счастливых ожиданий.

Раньше люди ощущали в себе искрение порывы, такие, как когда-то у молодых студентов-романтиков, которые добровольно шли на войну и слагали головы за настоящую правду (увы, та правда оказалась относительной).

Теперь мир не вызывал искренних порывов, больше того, мог отвратно действовать на нервы. В результате последней эволюции получилось так, что истина перестала быть абсолютной. Она должна была служить конкретной реальности, хотя злые языки стали называть ее пост-правдой. Началась борьба против абстрактных, отвлеченных истин, провозглашаемых «гнилой интеллигенцией» на западе и востоке, во все времена истории, в философии, социологии и литературе, – за конкретные правды, те, что нужны обществу и управляют им в данное время, то есть за правду в конкретном исполнении, ибо не бывает абсолютной.

*История живет в сознании,
В проекциях его пути,
Рожденных бредовыми снами,
Где полных истин не найти.
Обрывочна, рождаясь зыбко,*

*Как движущиеся облака,
Уходит, оставляя слепки
Лжи образа в словах, руках.*

Теперь от смутно подозреваемой настоящей истины стали бежать, как при виде красной тряпки, в спасительное неведение потребительства.

Наступила эра нового языка. Мир окутало отупляющее облако пост-правды, в сполохах агрессивной пропаганды.

Пост-правда висела на рекламных плакатах по площадям, вываливалась в массмедиа, а ее создатели и исполнители жили под ней, как под щитом, оберегая от чего-то, что казалось ненужным и опасным.

Пост-правда стала мощнейшим оружием защитников государства.

– Наши интересы – в защите нашего образа жизни! – кричали на Востоке, задетые угрожающе обеспеченной жизнью западного народа. – Это высшая, конкретная правда. О какой еще абстрактной правде можно говорить?

– Установление нашей демократии во всем мире! – утверждали на Западе свою пост-правду жаждущие новых рынков.

У интеллигенции, истосковавшейся по настоящей правде, форма высказывания изменилась с фальшивой обобщенной и практически бесполой на прямую и телесную. Это началось еще со времен, когда работали по спинам митингую-

щих дубинками нацгвардейцы, плясали на амвоне участницы Pussy Riot, акционисты прибивали к брусчатке яйца, поджигали двери здания ФСБ. А сейчас перестали скрываться под фиговыми листками прав человека, гуманизма, разумного доброго и вечного, и даже закона. Ниспровергатели всего, с лицами, прямо выражающими мат, важно возвещали:

– Последнее убежище истины – блатная терминология.

В новую эпоху развернулась борьба уже за абсолютную правду в конкретном исполнении – искусственном интеллекте, то есть не имеющем человеческого разума. Это уже настоящая объективная правда, без интеллекта.

Но странно, искренний порыв к настоящей истине не уходит в нем, Гордееве. И только ли в нем? Поэтому возникло независимое Движение «Голос истины».

Он с негодованием вспомнил, как пробивался через фальшивые идеи, благонамеренность, непонимание, зависть и равнодушие.

После того, как определились цели Движения, его стали кусать со всех сторон. Особенно донимал конкурент – общественная организация «Экология духа», уязвленная тем, что «Голос истины» перетягивает на себя участников. Она уличала его в том, что Движение не зарегистрировано должным образом, и даже грозило подать в суд.

Почему-то от этого он не мог спать, спорил с ними, самоуверенными дамами-экологами, которые и его, наверно, ви-

дели самоуверенным наглецом. Особенно тяжело от обиды, когда чувствуешь, что где-то тоже не прав. И ненавидишь холодного обидчика, изничтожающего твое сомнительное дело.

Он вспомнил совещание с иностранными партнерами. Да мы-экологини развесили плакаты с концепцией экологизации всего мира.

Он спросил:

– Есть ли программа, как преодолеть сопротивление корпораций-загрязнителей?

Они стали торопливо двигать указкой по стрелкам на плакатах.

– Но это на бумаге! А кто вас поддерживает?

– Народы мира!

– А реально, сколько членов вашей организации?

Они вспыхнули, и свернули свои плакаты.

Это не забывается.

Может быть, слишком влез в дело так, что недоброжелательность глубоко задевала его за живое, и в ответ его злые реплики оскорбляли их?

Гордеев хотел хоть какой-то помощи у государства. Пришел слевой в министерство, могущее курировать его направление деятельности.

Это новое энергичное министерство, отличающееся от старых топорных министерств, закрытых от населения и занятых какими-то своими делами, не нашим чета. Его аппарат был молодым и общительным, назначенным из резерва перспективных руководителей. Они вертелись, одетые одинаково в черные костюмы с галстуками, как черти.

Их встретили в большом кабинете, обитом звуконепроницаемым войлоком, усевшись за свои большие лакированные столы. Никто не встал навстречу.

– Вы кто? Общественное движение? Что-то не знаем.

Гордеев удивился.

– Нас знают. Работаем уже два года, так сказать, вам же помогаем.

Те тоже удивились.

– Тогда почему вас не знаем?

– Потому что вам не нужны маргиналы, то есть общественность.

– Зарегистрированы? – раздражился староватый черт.

Было видно, им не до «независимых движений». Распределяли не снившиеся маргиналам ресурсы налогоплательщиков, называемые государственными. Это были грандиозные проекты международного масштаба, типа соединения материков Океании и Востока страны. Строительство самых длинных в мире дорог и удивительных мостов через обширные водные территории.

– Мы же народное движение!

– Вас же юридически не существует, кому мы должны помогать?

Они были уверены, что пришли просители. Просят и просят!

– Так помогите зарегистрироваться.

Староватый черт хохотнул.

– Вот когда станете силой большей, чем наша, заходите.

– Тогда вы к нам приползете! – пригрозил Лева.

– Пока мы по-настоящему заботимся о людях, а не вы. И нас не прогонят.

– Зачем вам забота о людях? – спрашивал Гордеев. – У вас планы на всю страну, а не на человека.

– Это вы о чем? – недоумевали черти. Эти непонятные маргиналы не видят свершений, от которых жизнь простых людей неуклонно улучшается. Хотя да. сейчас спад, но мы мобилизуемся.

Маргиналы не были им интересны, в широких окнах своих кабинетов они видели яркий свет ресурсоемких новостроек.

Они вышли мрачными.

– Им мы не интересны, – сказал Лева. – Нерв чиновника: не помешает ли наше Движение прочности его положения? Нет, оно ему не нужно. Они живут парадной стороной своей работы, чтобы не сбросили вниз, в непонятную массу.

Лева сожалел, что не мог привести свои доказательства в

лицо чиновникам. Они не поняли бы его. Он все беды переводил на социальную систему, с которой надо бороться. Не знал других причин наших несчастий.

Гордеев возражал:

– Любая организация, система – неизбежна. Она организует глобальную работу по развитию цивилизации. Ее способна осуществить, хоть и коряво, только власть, владеющая основными ресурсами.

Тот взвизывался.

– Это право силы всячески выпячивает пропаганда властных структур в борьбе против оппонентов, вытесняя их в маргиналы.

Его слова звучали убедительно. Роковое в любой системе, громоздкой и негибкой, – она меряет температуру общества, как среднюю по больнице. Это неодушевленный каркас, куда пытаются втиснуть живую человеческую активность. Закон удерживает в рамках, а эта система упраздняет человека. По своей природе не предусматривает частное лицо: оно бьется за решетками подзаконных правил. Причина равнодушия винтика-чиновника – в системе. Он боится вершины пирамиды, а не народа, еще и обозлен расхлябанностью мешающих граждан, не идущих в ногу.

Лева настаивал:

– Но что делать, если система не уходит из патриархальных времен Месопотамии?

– С роковым свойством системы можно примириться, ес-

ли она будет освещена божественным светом сочувствия к запертым в ней людям.

– Возможно ли это? – не верил Лева. – Система целиком против безответственной свободы личности. Только в ее пост-реальности существует довольство трудящегося народа, радующегося на праздничных шествиях и спортивных состязаниях. Это мир государственных средств массовой информации. Они вызывают патриотическую гордость от счастья жить в чудесной стране. Государственные мероприятия дышат энергией чистого творчества на благо. Пролистни газеты, принадлежащие администрациям губернаторов краев и областей!

Он взял подшивку и стал читать заголовки. *"Вас понимают, меры принимаются. Разговор по душам"*, «Главный закон – «Город ценит ваше время. Первую помощь окажут быстро», «Столица стремится к гармоническому развитию». «На набережных станетлюдно», «Танцуем вместе фокстрот и румбу»...

– Разве не правда? – робко встрянул Михеев, он сидел в стороне и слушал, волнуясь, с красными пятнами на лице. – Я гуляю в парке и вижу: люди действительно пляшут. И в заголовках газет – тоже правда. Эти дела действительно делаются.

И добавил:

– А система приносит основное благо людям. Не нам чета. Лева был задет, но презрительно отвернулся.

Гордеев тяжело завозился в своем скафандре, заново переживая неприятное горение внутри, и мстительно оправдывал свой побег в космос.

Ему снился какой-то унижительный сон: громадная социалистическая столовая, он врывается в открывшуюся дверь в первых рядах, стремясь занять хорошее место у столиков, но так и не успевает – толпа его обогнала, все столики уже заняты.

Неужели таких, как он, энтузиастов, мало? Что случилось с людьми – загадка. Когда-то, в грозные годы, и перед Великой отечественной, и Великой гибридной войной в людях, особенно у молодых, просыпалось болезненное чувство родины. А теперь жизнь людей как будто лишилась смысла.

Он не думал о дружбе, как и другие знакомые создатели своего дела. Они были слишком самостоятельны и погружены в свои дела, потому были официально доброжелательны – не задевали его интересы, и, казалось, не способны на дружбу.

Только с единомышленниками мог говорить свободно, особенно с другом Лево́й, – о философских проблемах кризиса либерализма и усиления националистических тенденций даже в либеральных западных странах, о кризисе в экономике и умах, о смысле существования.

Ле́ва Ильин был сыном дипломата, учился в лондонском колледже, а после возврата домой в университете, работал преподавателем в одном из институтов. И тоже после увольнения вместе с Гордеевым создавал независимое общественное движение.

Они всегда спорили. Ле́ва говорил, что невежество вокруг еще до сих пор обязано далекому Октябрьскому пере-

вороту 1917 года и советской власти, породивших упрощенных предков, обрушивших долго создаваемую аристократическую сложность эволюции, и новая эволюция еще никак не может развиваться.

– Несвобода и насилие кажутся подданным природными, – соглашался Гордеев. – В каждом из нас есть такой инерционный механизм, сдерживающий развитие. Кликни: идите назад, в привычное ярмо реального социализма! И многие ринутся опростеть. Подумать только! Прошло чуть ли не сто пятьдесят лет, а вдолбленные в головы традиции живут!

– Ты что, – возмущался Лева. – Традиция убивать – вечна!

Невежество возникает, – негодовал он, – из скудости источников знания, со старых времен, когда завинчивали крапки мирового знания. Ум склонен насыщаться представлениями, как правило, ходячими и архаичными. Невежество требует принесения в жертву врага, «козла отпущения» из ложного представления об источнике опасности, им может быть назначен любой, на кого масса может быть науськана, во времена кризисов – войн, в том числе всплесков терроризма, митингов и шествий интеллигентов, семейных скандалов, школьных буллингов и т. д. Вот им и был назначен нашей властью Запад.

Михеев, сидевший в сторонке за своим бухгалтерским столом, вмешался:

– Ерунду говорите! Чем вам помешал Советский Союз? Мы до сих пор живем на том материальном фундаменте, ко-

торые он создал.

Лева посмотрел на Михеева.

– У тебя, оказывается, есть свое мнение.

– Каждый думает по-своему.

– А ты постмодернист!

Лева посуровел:

– Ленин был прав в одном.

Вытащил кармана блокнот, в него всегда что-то записывал, и прочитал записку Ленина в дни после Октябрьского переворота. "Это разгильдяйство, нервная торопливость, склонность заменять дело дискуссией, работу – разговорами, склонность за все на свете браться и ничего не доводить до конца есть одно из свойств "образованных людей", большинство которых – вчерашние рабовладельцы и их приказчики из интеллигенции".

– Тут он прав. Есть отбросы человечества.

– Какие-такие отбросы? – насторожился Михеев.

Гордеев возмутился:

– Вот как ты думаешь о людях! Вождь не любил современников, был зол от преследований, и почти всю жизнь упирался в узкую цель – создание «профессиональной организации революционеров», чтобы расквитаться с обидчиками – самодержавием и придти к власти. И тогда – уж вам всем! Считал, что мир перевернет только отточенная, как нож, профессиональная партия. Никакой уклоняющейся лже-социал-демократической болтовни – его злейшего врага! Благо-

даря такому инквизиторскому упрямству его последователь использовал логику топора, рубя в массовом порядке. Эта злобная упертость была всегда в истории, без разговоров рубившая головы.

Михеев сказал ерническим тоном:

– Не трожьте вождя, переломившего мир!

Лева не обращал внимания.

– А что, разве был неправ? Только профессиональные революционеры добьются своего.

– Нет. Уничтожил собственников и превратил их имущество в собственность верховного частника – бюрократическую структуру, которая стала эксплуатировать уже всех лишенных собственности.

– А мы лишим власть этого преимущества.

Гордеев зло прервал:

– Вы, оппозиция, тоже, как он, лишены отстраненного ироничного взгляда на все, что творится перед вами, и отсюда злоба и требование перлюстрации и посадки всех противников. Все повторяется.

Лева смеялся.

– Ничего личного, как сказал киллер.

– Бандит никогда не бывает отстраненным от вознаграждения. Я говорю об отстранении иного рода – творческом. Чехов говорил: «Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным как лед».

Гордеев доказывал: нужно стать другим человеком – два-

дцать первого века – взглянуть на самый смысл борьбы с «человеческим» в человеке. Бороться без крови, даже стать слюнявым гуманистом? Наверно, здесь точка разлома во всякой политической борьбе: пойдет ли «профессиональный революционер» на уничтожение того, кто для него представляет собой мусор, или посмотрит со стороны снисходительно на недостатки человечества.

Он сам не видел пути. Неприязнь к разгильдиям с неразберихой в голове была и у него. Его деятельность, воля – порождали ненависть сопротивляющегося объекта. Что же, за это расстреливать?

– А вот Горби был другой, – побивал он Илью генсеком Горбачевым, – работал на износ, но ругался иначе: «Ох, и ленивое наше общество! И начальники такие же: пришли к власти, получили кормушки, чаек попивают, не только чаек, а поругивают высшее начальство». И добавлял: «Сталин – это не просто 37 год. Это система, во всем – это экономика до сознания. До сих пор! Все – оттуда. Все, что теперь надо преодолеть, все оттуда».

– И не расстреливал, – настаивал он. – Не мог пойти на репрессии, даже на увольнение несогласных. Более того, терпел врагов, и даже мирился.

– Давайте жить дружно! – заржал Лева. – За что его и предали.

Наверно, и я такой, – подумал Гордеев.

Что лучше, слабак или тиран? Нет выхода. Одно ясно – надо успокоиться и увидеть проблему отстраненно, со стороны. Он хотел создать свободный коллектив творцов, посвятивших себя лечению общества близостью и доверием. А вляпался все в то же – систему подневольного труда. Что мешает дружной работе? Психология эгоизма, не желающего отвечать ни за что? Разделение уровней благосостояния – у одних накапливается столько благ, что они боятся потерять власть, вознаградившую их, а у других – в карманах шаром покати, и они готовы поднять «булыжник пролетариата».

Его возмущали непримиримые разногласия соратников, вздымая в душе злобу, и он тоже потерял отстраненный иронический взгляд на человеческую природу, не разглядел многого в человеке, кроме равнодушия и недоверия, за что действительно надо карать. Его! Увы, он опустил на низший уровень отношений между людьми, и никак не мог вырваться.

Что такое оскудение человеческой личности? От долгого не замечания окружающего, что остается вне цели? От не видения "мелочей" чужого существования ("лицом к лицу – лица не увидать, большое видится на расстояньи")?

Он охладел к окружающим людям, видя в них рыхлость, безответственность и отсутствие смыслов существования. Кто отвратил их от общей работы? Отчего не желают что-то

делать? Как далеко это протянулось! Больше века уже прошло. Может быть, это природное свойство человека – быть таким?

А может быть, это я угрюм от шизофренической упертости в достижении цели? А сотрудники живут, по-другому воспринимая мир цветным и щедрым, и им легче?

И вспоминал разговор слевой:

– Все – оттуда!

Рыхлое независимое общественное движение стало проявляться в будоражащих население программах под брендом «Голос истины». Их продвигали альтернативное Интернет-ТВ, независимая от государственных грантов газета, благотворительный фонд, вскоре зарегистрированный, как «иностранный агент», альтернативная частная школа.

Начались нападки конкурентов и идеологических противников. Это не были политические претензии, немодные в мировом сообществе и всячески избегаемые. Гордеева обвиняли в нелегитимности, незаконности сборищ «Голоса истины», в денежных вливаниях агентами недоброжелательных государств.

Он был растерян. Говорят, что сопротивление выковывает личность. Но когда влезаешь в головы ярых противников, перед тобой встает их животный страх за свое дело, которому угрожает самонадеянный враг, самому существованию. И ты отвечаешь, захлебываясь в негодовании. Что тут может выковать личность?

Видел агрессию в непримиримых любителях упрощать и обобщать. Когда кто-то находит окончательное знание – это уже идеология. Вот откуда вырастает идеология! Часть принимается за целое. И удивлялся непримиримости – до пол-

ного уничтожения человеческого.

Эта непримиримость ко всему, что не соответствует твоим представлением, порождает конфликты между гражданами, организациями, властями стран, порождает и национализм, и джихады, и терроризм.

Фонтан отрицательной энергии вскипает в помраченных душах из-за опасений, что отнимут власть и имущество, или не дадут добраться до благ, унизят самолюбие и достоинство, или изменят друзья, разрушат дело, приговорят несправедливые суды, развяжут гибридную войну.

Весь ор в ток-шоу по телевизору исходит из личной пристрастности, в злобе закрывающей мир и исключаяющей мирное, как ручеек, течение творческой беседы.

Гордеев почему-то лично переживал недостаток расположенности в земном мире, не говоря уже о близости. И пытался принять этот факт как само собой разумеющийся. Ведь только на этой опоре может возникнуть любовь.

И что? Сейчас – лечу черт-те куда, и ощущаю недостаток любви. К кому? К Богу?

Я не верю в Бога. Но в чем тогда моя вера? Некое смещение веры в Спасителя – в иное, творческое состояние? Замена Его живым исцеляющим переживанием. Не иллюзией, ибо в миге творчества есть бессмертие. Бессмертие может быть и в переживании мгновения. Парадокс?

Все же во мне остается чувство бесконечной близости новизны и ожидания. Почему в это верю, хотя и умираю, исчезаю в пустоте?

От неожиданного вызова в Комитет справедливых расследований обмираешь, как от удара по голове.

Весь вековой страх поднялся к горлу, он никуда не делся, несмотря на совсем другое время середины нового века.

Гордеев преодолел глупый страх, и вместе слевой, для поддержки, поехал в "Справедливку", как окрестили Комитет.

Следователь, грузный, с рыхлым лицом добряка, словно уставшим от негативных приговоров прошлых судов, встретил дружелюбно.

– Прошло время, когда привлекали за вольнодумство, как что-то незаконное. Но мы знаем, куда вы клоните.

Прокуратура перестала быть всесильной, наступила независимость ветвей власти, скрывшая острые конфликты, и только слегка шевелилась снаружи «борьба башен под ковром». Ее побуждения были ограничены кругом интересов, не относящихся к творческому труду, – выискивать себе работу и карать, карать. Зато она достигла невероятных успехов в распознавании «мыслепреступлений», о чем догадывался Джордж Оруэлл.

Прогресс технологий достиг такой степени, что все мысли гражданина генерируются специальной программой в интернете: переписка, переговоры по мобильному телефону, закупки товаров, вклады и сбережения, участие в общественных движениях и митингах. Работа искусственного интеллекта не видна, она скрыта, но преступник как-то исчезал из масс-медиа, из других полей деятельности, и, наконец, исчезал из социума. Конечно, звучит зловеще, но это неизбежные издержки развития.

– Вот и мы не знаем, куда вы клоните, – сказал Лева.

Дознаватель посуровел, знал о них все.

– Вот что. Я тут получил кучу жалоб на вас. Сами понимаете, не могу оставить их без внимания. Тем более, у вас есть нарушения в законодательстве.

Он неожиданно омрачился.

– Достали! Сверху давят, вы давите. Надо уходить на пенсию.

Суды давно перестали быть топорными в своих приговорах. Ушло средневековье, когда при очередном природном катаклизме и опустошительной войне многие головы внезапно осеняло: вот он, виновник, дьявол во плоти! Он – в ведьмах! Из-за них Господь гневается! И суды инквизиции пытали пойманных женщин-ворожей на дыбе до тех пор, пока виновные не признавались, что именно они насылали беду,

и торжественно сжигали их живьем на костре.

Такое безумие внезапно овладевало целыми народами, как во времена иезуитских судов-спектаклей тридцать седьмого года прошлого века, или гонений на евреев фашистами и массовых убийств в концлагерях.

Прошла и кратковременная вспышка драконьих судов над зачинщиками «беспорядков» на митингах, как силовые органы называли вегетарианские шествия робких демонстрантов, боящихся задеть склонных к моральным и физическим страданиям полицейских-«космонавтов».

Теперь все гораздо цивилизованнее и совершеннее. В умелых руках суд превращается в удобный инструмент достижения справедливого приговора. Глупцы подозревают, что судей контролируют какими-то звонками сверху. На самом деле судьи лично принимают решения, их устраивает их положение, и лишиться его они не хотят.

Здание суда, расположенное в центре города, было дворцом из белого мрамора, – типический памятник из старых времен, поражающий устаревшей величественной мощью власти и отсутствием воображения.

В приемной суда на жестких скамьях сидели несколько предпринимателей, и на приветствие Гордеева улыбались жалкой насильственной улыбкой, погруженные в свое отчаяние ожидаемого приговора, грозящего лишить так тяжело выхоженной фирмы и непосильного штрафа.

В зале суда пахло затхлой трезвостью, томительной, как нудное разбирательство с копанием в грязном белье. На помосте под флагом с крабом-гербом сидели за столом худая, желчная судья в черной мантии, с отсутствующим видом, озабоченная домашними делами, и две бесцветных женщины-заседателей. Судья торопливо-пренебрежительно открыла заседание.

– На вас поступила жалоба.

– Где истец?

– Он не пришел. Но это и так очевидно – ваше так называемое движение не зарегистрировано должным образом, и до сих пор не выработана программа деятельности. По сути вас нет, но вы есть. И при этом размножаетесь по всей стране. Наплодили частные школы, свои газеты, кучу аккаунтов и даже свое телевидение «Голос истины» в интернете. Они тоже не зарегистрированы. Слишком вольно трактуете политику Системы. И вообще направлены на голую критику.

– Ну и что, ваша честь? – удивился Гордеев. – Мы граждане, имеем право голоса.

– Ну да, вы же Движение, и даже «Голос единственной истины»! – съязвила судья.

Лева заволновался.

– Вы подавляете личную инициативу!

– Какую инициативу? – удивилась судья.

– Мы выполняем общественную программу!

– Вот, в заявлении на вас написано: у вас нет программы.

Гордеев понял, что ничего не докажешь.

— Есть основной стержень, и программа все время пополняется, она эвристичная.

Заседательши хихикнули.

— Подавляете народное самовыражение!

Гордеев дернул Леву за рукав.

Лицо судьи стало строгим.

— Мы поддерживаем миропорядок.

У нее в мыслях не было, что можно поддерживать миропорядок как-то иначе, чем ее карательные приговоры. И гордилась своим благородным воздействием на непонятно ворочающиеся низы. И своим местом, пожизненно безопасным.

Гордеев пытался спорить, доказывая, что солидарное единство чиновников может оказаться в противоречии с населением страны, и даже с внешним миром.

Судья терпеливо объясняла:

— Мы знаем о настроениях населения гораздо больше, чем вы. И настроениях иностранцев, с которыми вы дружите.

— А разве мы уже не дружим с американцами?

— Дружим. Но хорошо знаем, что ваш американец никогда не примет нашу Систему.

Это было так. Сейчас судья копает гораздо глубже в распознавании сущности подсудимого. Он уже замечает первопричину его поступков, и даже «мыслепреступление».

О сидящих перед ней она знала заранее, и весы правосу-

дия в ее голове склонялись не в их пользу. Они показывали уход ответчиков в ту свободу, которая не по душе охранительнице Системы.

– Зачем вам забота о людях? – нудел Лева. – У вас охват на страну, а не заботы отдельного человека.

– О чем вы? – не понимала судья.

Он хотел развить его теорию о системах, исключаящих отдельного человека, но понял, что судья не поймет.

Она прекратила спор, и ушла с заседателями в комнату совещаний.

Они вошли быстро. Судья так же торопливо пробормотала приговор. Суд установил... Суд приговорил: распустить независимое общественное движение "Голос истины" вплоть до оформления его в законодательном порядке, и закрыть частные школы, газету и интернет-ТВ под его брендом.

Гордеев и Лева вышли из суда подавленными. Улыбались жалкой насильственной улыбкой, погруженные в свое отчаяние, как те, что сидели в приемной в ожидании приговора. Гордеев начал сомневаться, исходят ли его действия из генов предков – романтиков революций 17-го и 90-х прошлого века, или намагничены Госдепом?

Как это – прекратить деятельность? Исчезнуть? Оставить единственное дело жизни, чем занимался годами?

Суд потряс Гордеева, по ночам не спал и перемалывал в

уме суть разбирательства, злорадно вслух давая ядовитый достойный ответ. И чуть не дошел до грани душевной болезни.

Он не знал, что делать. Отдал все силы своей маргинальной организации, став аскетом, как-то сумел вытащить за уши коллектив в творческое состояние, сделать организацию общественно важной. Власть холодно смотрела издали или насылала органы госконтроля, тайно выведывающего главное – не подкапываются ли под конституционный строй, который она и воплощает. И вот теперь – все отвалилось, и надо искать другую работу.

Арендатор неожиданно потребовал выселения. Гордеев все понял, это обычный прием власти – только мягкое воздействие на противников, путем надавливания на болевые точки.

Секретарша Алена не смогла сдержать себя, прильнула к нему со слезами. Он обнял ее благодарно. И сожалел: слишком они не совпадают во времени.

Но чем-то она помогла ему.

Гордеев сжимал кулаки, делал стойку борца, сопротивляясь громоздкости скафандра. Спорил, ненавидел и сомневался, совсем забыв, что сидит в кирасе, в его теперешнем состоянии уже не участник, никто.

Там внизу, был момент острого возбуждения при грубом

отстранении его от дела несправедливым приговором суда. Но скоро возбуждение прошло, и он стал различать потолок убеждений и мнений, мешающих увидеть бездонность истины.

Его юношеское представление, что человек по натуре добр – не оправдалось! Да, он нормален, добр, сочувствует, но до тех пор, пока не затронуты его интересы, время, благополучие, а тем более жизнь. Человек не хочет свободы, так легче, ибо свобода вынуждает полагаться только на себя, ведь страшно самому плыть в бурном море, лучше переложить на других.

Но отчего-то мучила совесть – что-то здесь не так! Такое отношение к людям угнетало его, словно связывало с великими злодеями мира, истреблявшими народишко (еще бабы нарожают!).

Из недовольства своим положением люди совершают не только революции, но и великие открытия, переворачивающие представления о мире с головы на ноги, создают литературу и искусство, считающиеся великими.

Он очнулся от воспоминаний, посмотрел в черную пустоту. Почему так слабо мерцают звезды? Ах, да, мешает подсветка. Или солнце вышло из тени Земли. Однообразие безграничности бездны равно пустой камере без окон и дверей.

И снова стал тонуть в невыносимом, нечеловеческом одиночестве.

Ищу кругом души родной...

Перебирал в памяти лучшее, что с ним было. Окунулся в солнечные сцены молодости, своей семейной жизни, и забыл о безвыходном будущем, став снова обычным землянином.

В нем жил великий океан над обрывом – стоит перед глазами всегда, как память о счастье.

И было счастье в нищей студенческой жизни с девушкой, с которой "расписались" где-то в загсе вместо свадьбы.

В молодости он много ездил по бесконечно сложным для осмысления городам, был на Ниагарском водопаде, со страхом проходя по мостику прямо под грохочущим чудовищным потоком воды. Видел сатиновое небо ночного военного Багдада.

Прочитал тысячи книг, в том числе в Интернете.

Переживал за людей разных времен и эпох, которых видел живыми и страдающими – через окна искусства и литературы.

Но из встреч с множеством людей почему-то осталось мало друзей. И все, что любил, оставлял – в поисках еще иного, иных измерений.

...Свежее утро на даче, завещанной родителями, сырая жизнь, как у древнего человека. Вышел в сад – толстое кривое дерево сирени, вверху, в глубине его цветения си-не-розовая исцеляющая бесконечность. Упрямые ростки из корня, распушенные листочками, лезут, забивают дорожку вдоль стены дома. Это свойство природы – упрямо давать ростки, вечно разрастаться. И с чувством вины он обрубал эти мешающие нежные ростки.

Он вспоминал его женщину, так наяву, словно она при-жалась к нему. Ее предки канули туда же, что и его, фото-графиями в старый родительский сундук. Мы с ней обруб-лены, завяли, лишены этой сущности природы – упрямо продлеваться.

У них был ребенок. Когда он родился, она изменилась, была поглощена им, а муж сразу отошел в сторону.

Она всегда брала все на себя, влезая своими заботливыми руками в физическую жизнь мужа и родственников, которые пользовались случаем, чтобы выливать на нее свои беды и

вытягивать из нее энергию, как вампиры.

Когда ребенок подрос, нашла новую заботу. Ежедневно бегала к тяжело больной тетке, плачущей от каждого прыщика: «Умираю!» – на ежедневную няню не хватало денег. Умирание не мешало ей ходить с трудом, делать укладку в ближайшей парикмахерской.

Приходила домой вымотанная. Ее близкая подруга выговаривала:

– Только без фанатизма! Будем ходить по очереди. Сейчас моя очередь.

Но тетка воспротивилась: «Лучше ты. Ты все знаешь, все рецепты, все ходы в больнице. Извини, я никого не оскорбила?»

Подруга была оскорблена.

– Что делать? – вздыхала жена. И там рвут, и здесь. Тетя со мной плачет, а с посторонними любезничает – прямо светская дама.

– Вываливать на тебя весь свой мрак – это высшее доверие, – оптимистично внушал он, и предупреждал ее гнев. – Такова судьба тех, кто берет все на себя. Ты надежная.

Он говорил с любовной насмешкой:

– Рядом с тобой хорошо умирать. Потому что знаешь, что при этом делать. И поможешь до последнего, закроешь веки.

Только глубокая близость с человеком способна на беззаветную помощь до конца.

Он не удерживался и цитировал Густава Шпета:

– Чем ближе родственные узы, связывающие нас, тем больше места разумному, тем больше места пониманию.

Она фыркнула и выбежала из комнаты.

– Дурочка!

– Да, дурочка. А был бы ты генералом, я была бы генеральшей.

Даже в его постоянном желании секса с ней – было наслаждение не быть одиноким, потому что ему мало было лицемерия вида любимой женщины. Но и это не могло до конца истребить чувства одиночества, оргазм не давал окончательного ощущения близости в равнодушном мире.

Ему казалось, что в нем постоянно жило другое ощущение близости – с более широким миром, как у женатого Данте, пораженного красотой Беатриче, сияющей в ореоле райской сферы. В минуты вдохновения его душу озаряла эта почти физическая близость с миром, как в детстве, когда с обрыва смотрел на ослепляющий живым колыханием свет океана. Это некая «вечная любовь», куда стремится судьба, отвергая неуютную среду.

Бедная моя! Ты во мне будешь всегда. Какой же я был дурак! Не знал, что был счастлив, когда ты в окне прощально махала рукой, а я садился в машину, чтобы ехать на работу. Сейчас махнуть рукой некому.

В земной жизни Гордеева в последнее время угнетало одиночество. Началось это после смерти сына, разбившегося, когда упал, бегая по крыше вагона поезда. Передал ему чувство риска. Страшная, непоправимая вина: не углядели! С этого мига они несли эту вину, тяжело перетаскивая тела через оставшиеся годы. Вспоминал сына, когда тот бегал с друзьями, забывая о родителях, и не подозревал, что возможно такое одиночество, хотя раньше ссорился с женой и уходил ночевать на работу.

Действия его стали сводиться к минимуму. Физическая активность стала скукоживаться, соратники, с кем дружил в молодости, избегают видеть друг друга, остыв или стыдясь морщин, особенно женщины.

Исчезло желание ходить на различные тусовки, разговаривать со знакомыми, — одни и те же споры, веселье, одна и та же выпивка. Зато стал вести гораздо более широкую жизнь в виртуальном мире, сидя за компьютером. Это было наслаждение — выискивать в книгах и Интернете какие-то ответы на давно назревшие и беспокоящие его вопросы, на которые не мог ответить сам, и механически записывал в дневники впрок то, что выискал, надеясь на дальнейшее осознание, когда будет мудрее.

Со временем он перестал ненасытно искать что-то, сознание его, непрерывно работающее, устало. Но оставалось

некое плато памяти, инстинктивно и свято хранимое, над которым кипит словесная шелуха мнений, всегда поворачивающихся некоей властью элит куда нужно.

Люди все время оперируют одним и тем же блоком слов своего языка, и со временем он стал замечать усталость от мысленного повторения одних и тех же слов. И нужно что-то менять в передаче мысли.

И спохватился. Кому и что передавать здесь? Себе?

Жену свалил инсульт. Неизвестно от чего. Она слабела, уже не могла вставать с кровати.

– Какая молодая! – хваталась за сердце сиделка. – Жить бы да жить.

– Не каркайте! – приказывала суровая подруга.

Его спасала только работа, где он мог думать о широком мире, до такой степени, что одиночество исчезало в своих темных тупиках.

Раньше они думали о том, что с ними будет, когда кто-то из них умрет. В те минуты внешний мир исчезал, как будто не было в истории миллионов и миллиардов смертей, которые перемалывало развитие и шло вперед.

А когда умирала, вымолвила: «У нашего сыночка волосики вылезли перед смертью». Поседевшие пряди волос пада-

ли на склоненное лицо в слезах. И взглянула на него: «Что с тобой будет?»»

Он вообще остался абсолютно один.

Подруга жены сказала:

– Переезжай к нам. Чего тебе здесь делать?

Он не мог влезть в ее шумную семью, такой тяжелый, со своей постной физиономией. У него своя судьба.

На работе встречал влюбленную в него юную секретаршу Алену, и эта девочка не была маленькой и незаметной. Воображал, как от них двоих пойдет новый род, и будет ветвиться, уходя в будущее сетью рода Гордеевых.

Но все в нем опадало при мысли об ушедшей семье. Разве можно вернуть утраченную целостность? Он чувствовал себя увечным.

Так чувствую себя и здесь, болтаясь в космосе.

У меня начались галлюцинации. Сын, живой, не погибший, тянул ручки ко мне и плакал. Его медленные движения были какими-то неживыми. Нет, не надо!.. Я тоже плачу, и в то же время счастлив! Видение слишком реальное, не похожее на галлюцинацию. «Эффект Соляриса».

После запрета в регистрации возможности Движения «Голос истины» резко сократились. Но оно продолжало действовать, под постоянным надзором. Разрешение на зал заседаний в Публичном доме независимых конференций было отменено, и они теперь ютились в разных помещениях, которые давали некоторые богатые сочувствующие.

Участники стали достойными и лояльными гражданами. Теперь на заседаниях они перешли на абстрактные и бесполое гуманитарные темы, вели вегетарианские споры.

Можно ли жалеть людей? – вопрошал Лева Ильин. – Эти скопища в городах и заброшенность в поселках, где всегда кто-то кричит от боли, и не ищет выхода, а невежество бесцеремонно вторгается в личное пространство.

Гордеев – все заметили, потух. Но он смог, как ему казалось, после упорных тренировок мышления – смотреть на мир отстраненно, со стороны, увидеть свое горе в ряду с другими, то есть сделать его общим, что почему-то облегчало муку. Это не смерть, это лишь тень заходит на солнце... И даже порой возвращался в свое прежнее состояние. Или делал вид, что он в порядке.

– Можно подумать, что ты не любишь самого человека, а не только невежественное в нем.

– Не все ли равно? Пусть будет по-твоему – невежество. Гордеев продолжал смотреть отстраненно.

– Попробуйте влезть в сознание других людей, и все представится иначе.

Есть состояния души (тревоги за жизнь дорогих людей, страха их и собственной смерти), откуда исходят волхования, мифы, религии, мистики, конспирологические убеждения в заговорах некоей единой мировой власти, и прочее, созданное в утешение человеку, разум которого не знает полных ответов и даже рождает чудовищ. Такой была и мечта большевиков, сделавших мифом свою историю, и выжегшая целую эпоху.

– Система уродует людей! – громогласно выдал из скрытого волосом рта анархист огромного роста.

– Тссс, – приложил ладонь к толстым губам маститый писатель с седой благородной шевелюрой и показал глазами куда-то в потолок. – Опять хотите приключений?

Лева сказал, глядя на упитанное лицо писателя:

– Но есть другая часть человечества, здоровая и сытая, не знающая страданий и голода. Там иронизируют по отношению к первым.

Писатель закинул ногу на ногу.

– Но там есть и правота нормального здорового человека, не надрывное добро, а более трезвое и рациональное деятельное сочувствие. Наверно, там рождаются либералы, чуждые показному добру, самостоятельно делающие себя, жестокие

в глазах "делателей добра".

– А не есть ли это обыкновенное равнодушие? – вставил Гордеев. Лева добавил:

– Это тебе не те состояния души, где бегут за полнотой существования, или чтобы просто поесть.

– Да, – самодовольно сказал писатель. – Они действительно возникают больше у той части человечества, где распространены страдания от тягот земного несовершенства: нищета, убогость, болезни.

Гордеев вспыхнул.

– Там ярость неприятия зла и героическое противостояние. Мать разделенных близнецов Гиты и Зиты в борьбе за их жизнь обрела такую стоическую крепость духа, что нашла силы внять просьбе умирающей Гиты: «Отпусти меня, мама».

Показалось, что писатель был равнодушен.

– Это состояние души обычных людей, которые "голосуют сердцем", находя поддержку в организованных праздничных плясках на площадях.

Гордеев смотрел ему в глаза.

– И есть самая большая часть человечества, живущая простыми радостями жизни, забывая о политике, идеологиях, системах, судах, радуясь сельским трудом, прогулкам в поле под небом, зовущим в светлое без всяких целей будущее. И плевать на «стан погибающих за великое дело любви». Как будто ее никогда не поглотят зловещие наплывы социально-

го дерьма, где дерутся за место под солнцем.

Лева подхватил:

– И есть выкованные властью, как большевики, крепче стали, спортивные, подчиняющиеся дисциплине братвы, гордые своей страной и противостоящие враждебному окружению.

Гордеев спохватился, сказал примирительно:

– Человек ищет подлинные смыслы существования. И сплошь и рядом совершает глупости, находя иллюзии выхода.

Чувство бесполезности усилий сделало Гордеева неуверенным и угнетенным. Временные крахи его надежд на Земле – оказывались всегда тяжелыми, как будто навсегда, кончена жизнь.

Странно, несмотря на тесноту скафандра, он перестал ощущать тяжелые телодвижения, его тело удлинилось в долгой невесомости, словно он длинная фигура ангела, не ступающая на твердь.

Он снова забылся. Опустился на Землю, медленным шагом бредет по благодатному полю, вдыхает бесплотный воздух. Вот он у себя в саду, среди чудесных сиренево-розовых радостей пенных кустов гортензий и разноцветно-целебных циний. Тихий вечер.

Но почему-то здесь пустынно, нет жены и сына. Зеленые крыши дач видны сквозь ветви, в них не горит свет. Что это, куда делись люди? Только могильный шорох листвы. И его охватила жуткая печаль одиночества.

Он очнулся, в полной тишине бездны, где никогда не было человека. И охватило еще горшее одиночество, намного страшнее, чем там, в пустынном саду.

Но там, на Земле была другая безнадежность, на твердом плато планеты, в которой были, конечно, опустошения и угрозы, но не так, как здесь, в ледяной пустоте за стеклом шлема. То прошлое, бесконечно далекое, с тягостным чувством из-за порушенного равнодушием людей дела и истощанности его смысла, с гибелью родных, с бессонными пере-

жевываниями случившегося, — показалось не самым страшным. Здесь в нем, неотвратно удаляющемся в космосе, не было и той опоры. Бесконечное одиночество вдали от человечества!

Гордеев подумал о радиопередатчике под ранцем, и не стал включать, зная, что оттуда могут нестись постоянные бесполезные позывные.

Он тяжело заворочался в скафандре, ощущая себя залитым в желеобразной бездне за стенками герметичной оболочки. И стал неистово переворачиваться, с усилием, словно перебарывая воду. Странно, потею, как оживший в гробу!

За стеклом шлема теперь резче стали видны звезды — он понял, что подсветка по бокам шлема слабеет, наверно, падает энергия.

Конечно, можно уходить в иллюзии связи с яркими туманностями вселенной. Но так думают на земле, люди живы лишь иллюзиями. И все их творчество не задается мыслью о том, откуда берется их оптимизм бессмертия. Но он терял иллюзии.

Вот его свобода, абсолютная свобода! Без обязанностей, ответственности за кого-то, без радостей, боли и страданий! Достиг нирваны.

Освободился от гордыни юности.

Освободился от ненужной душе работы, сомнительной

или ненужной для общества.

Отклеились равнодушные сотрудники, отрабатывающие свою барщину.

Не надо любить или ненавидеть власть, больно ощущая скрученные ею руки.

Освободился от забот страны, запретов, вины, скуки.

От собственных инстинктов, переживаний любви, страдания, голода. Самосохранения.

Освободился даже от земного тяготения.

Я не зажимаю ничьи права, и мне никто не связывает руки.

Теперь у меня нет выбора, ибо выбирать не из чего, у меня одна дорога – в пустоту мироздания.

Не надо искать окончательного смысла существования, над которым веками бьется человечество, находя лишь утешение в возможности спасения неким Неизвестным.

Состояние полного успокоения. Ничто не заботит и не тревожит.

Только боль из-за умерших родных еще колола сердце.

Он усмехнулся в стекло шлема. Действительно, свобода есть осознанная необходимость, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, как говорят марксисты. Но какой это пустяк во взгляде с большого расстояния.

Все это применимо только в человеческом обществе. А мне можно! Во мне еще остается внутренняя свобода – мыслить, воображать миры! В ней нет цепей внешнего мира.

Могу осознать объективную необходимость хода событий, вызываемую непреложными, неотвратимыми силами, найти верное решение и потому не быть слепым рабом обстоятельств, жертвой катаклизмов вроде пожаров, заполонивших Сибирь или Калифорнию. Перед самой главной жертвой, – усмехнулся он. – Жертвой космоса.

Что это? Жизнь или уже смерть?

И вдруг ему страстно захотелось вернуть Землю к себе, в свой гроб. Ну, ты, как Гитлер, хотел бы унести мир с собой!

И планета Земля открылась ему удаляющимся чудом! Так вот она какая, моя планета!

А люди? Неужели мог не любить таких живых разумных существ, тот отстраненный от его переживаний муравейник, по которому прохаживается грубая лопата истории? Ведь, планета и люди неразделимы – только через наше духовное зрение можно переживать красоту земли!

Неотвратимо отдаляясь от Земли, Гордеев медленно начинал осознавать свою неотделимость от нее. И физическое тепло к неотделимому от нее человечеству. Понял неисполнимое евангельское изречение "любите врагов своих". Хотя, конечно, был не в состоянии простить «мерзейших негодяев», как выразился герой Шекспира.

Негативным человеческим отношениям придается слишком большое значение. Издалека они тонут в невообразимой энергии движения вселенной, включая человеческую (правда, это в его воображении, придумка космологов, на самом деле никакого движения в пустоте Гордеев не ощущал). Плохие отношения между людьми – это на самом деле не так важно, как всегда казалось в обществах, создавших кровавую историю. На удалении – на передний план выступает благоговение перед жизнью.

Сейчас, замкнутый в коконе скафандра, он увидел, что тот мир прекрасен – и теперь, и был в прошлом, и будет в будущем. Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир прекрасен! А там, на Земле, мы в своих заботах почти не обращаемся к прекрасному! Кто-то сказал: «Я не могу понять, почему человеческие создания не замечают счастья и блаженства, которые разлиты повсюду в природе?»

Странно, его мозг не чувствовал, что он летит в тесном скафандре, и вне – ледяная пустыня, но успокаивал ощущением полной безопасности.

Во рту пересохло, и он попил через соломинку у лица – в шлеме еще было до половины литра воды.

Сейчас он забыл свое настроение горечи, злобы, мелкие радости и унесения в иллюзии – перед величием космоса и сияющей вдали планетой жизни.

Его внимание было повернуто в свои новые состояния, чтобы разобраться в себе.

История человеческая, если глядеть в упор, – слишком приземленная и кровавая, слепо следует инстинкту завоевания жизненного пространства. Вглядываясь в земную историю, увидел крошечного фюрера с прилепленным под носом квадратиком волос, как на сатирическом рисунке Кукрыниксов, и засмеялся. Увидел бы отсюда, и понял, как это бес-

смысленно – истреблять неполноценный мир ради верховной расы мистических германцев. Все это уляжется в траве забвения, недостойное величия пути человечества. Правда, неясно с учеными нацистами – конструкторами «Фау-2», погубившими тысячи жизней, которые были скрыты американскими спецслужбами, и работали над запуском «Сатурна» с людьми на Луну, сделавшими гигантский скачок человечества.

О чем я думаю? Зачем забираю эти случайные события на Земле в космос?

А на расстоянии видишь другое – расцвет городов, быстрое развитие общих и личных удобств, создаваемых технологиями, глобализация солидарности человечества.

Он понял только одно: жизнь надежна и спокойна, и не страшно умереть, когда ощущаешь себя во множестве других измерений, откуда смотришь на свое узенькое измерение со страхом перед жизнью и смертью.

Но что мешало нырнуть в иное измерение? Ах, да, мешает мочевой пузырь. Еле сдерживаясь, выпустил струю в мешочек. У себя под носом увидел капельки – что-то не работало, и вспомнил, как смеялся над Михеевым. Смеется тот, кто смеется последним.

Гордеев изо всех сил старался отстраниться от себя, холодно наблюдать за своими страданиями: ага, тут у кого-то болят кости, затруднено дыхание. Брал себя в руки, дисциплинировал, изгоняя уныние. Хотя зачем? Чтобы устранить боль и продлить жизнь хотя бы на часок?

И добивался: смотрел на процессы земной реальности из колыбели, откуда вышло все живое – после миллионолетий преобразований, где разворачивались все его силы. Как можно считать его пустым и чужим?

Что это такое – живое существо, возникшее из космоса (из комет, принесших из глубин космоса органические соединения и воду)? Что предстоит понять человечеству – в его готовности к саморазрушению? Чего оно хочет – в жажде выйти в иные просторы своего расцвета? А может быть, это выход самой вселенной – в расцвет разума?

Может быть, наше развитие – частица развития самой вселенной, свободной, ищущей вольной ошупью своего самовыражения. Разве не тот поток, что стремится снять тесноты социально озабоченной души?

Что-то ему страшно мешало – тяжесть в животе. И с облегчением вывернул себя в мешочек калоприемника, его вытерло чем-то влажным. Слава богу, нашел кнопку, чтобы выбросить мешочек через клапан в космос.

Ой, кто-то подслушивает мои воспоминания — не смеется ли надо мной?

Он шептал эти слова, глядя сквозь земные тупики фактов и процессов, «затыкающих бездну» и взрывающихся выходами в простор.

Мысленно произносимые слова разрывали цельность восприятия им космоса, и он замолчал, чувствуя некое единство с ним.

На космической станции туристы были охвачены смятением, проплывая один мимо другого.

Михеев, очнувшийся от страха за Гордеева, наслаждался своей безопасностью – не мог выйти из своей привычной оболочки, был уверен в своем бессмертии. И стукнулся боком о какую-то перегородку.

– Его спасут! – уверял он. – Родина не забудет!

И тут же замолкал.

– Нечего скулить! – орал Марков. – Главное – борьба! Что ж, если умереть, то не сдаваясь.

– Особенно, когда умирают другие, – мрачно сказал Лева Ильин. Он один смутно догадывался, что уход друга не случайность, а сознательное намерение. В его памяти печально преследовал неотвязный образ надежного и умного друга, которого почему-то нет рядом, и не будет никогда. Не с кем больше поспорить, открыться полностью во взаимном доверии.

Американец Алекс сделал упрямое лицо воспитанного в другой культуре, не способного стать на точку зрения чужого народа, и горько сказал:.

– That's your way! Throw everything – and rush into death. Как у русских! Бросить все – и убежать в смерть.

– Сру – это по-вашему! – зло сказал Михеев, уже не боясь быть откровенным.

Все устали от неудобства в космосе. Гибель товарища уничтожила его волшебство. Хотелось вернуться, подышать земным воздухом, полежать в траве. Всем

казалось, у них увеличились головы из-за прилива жидкости, что-то изменилось с обонянием, притупилось.

Ум Гордеева метался в сомнениях.

Или это не иллюзия, а сущностное материальное свойство материи? Полет бытия – вот главное. В этом удовлетворение. Бессмертие – в полноте проживания бытия. Это эмоциональное чувство, то есть вневременное. Суть развития цивилизации – в достижении каждой личностью полноты существования.

Бессмертие есть и в физической длительности тела. Механизм примирения с индивидуальной смертью – это дети. Но как далеко во времени длится это бессмертие? Когда случится угроза смерти рода человеческого?

Гордеев успокоился. Тело знало о неизбежном скором конце, хотя оно было как никогда обостренно чувствующим. Съежилось, прячась где-то в сингулярной точке. Казалось, в

ее глубине безопасней.

И он отодвинул отчаяние неизбежности, и снова стал жить, словно ничего не произошло.

Он не замечал, как солнце встает, освобожденное из тени планеты Земля, освещая шлем, и садится в ее тень – по несколько раз за короткое время. Показалось, он удаляется в бессмертие крутящихся бездн, в неизмеримые дали пылающих солнц и светлых туманностей.

С ними сливается сверкающий поток жизни человечества, чудо в самом себе и извне (как будто кто-то видел человеческую массу извне и восхищался), вливая свои безграничные силы, огромный опыт – от выживания в битве за жизнь – до прояснения спасения в любви, ценности каждой личности. И как оттеняет эту великолепную историю безграничная дышащая бездна!

Увидел превращение энергии в материальные состояния, и наоборот – как время превращается в бесконечное пространство.

Я, кажется, приспосабливаюсь к ожидаемой смерти – хочу устранить ее муку, хотя бы духовную.

Это не отплывание в бездну. Это ужас метафизический – отмирание всего, что держало, – самой жизни.

Голова работала, но Гордеев внезапно ощутил упадок сил, как с женой, когда, почувствовав слабость, не смог спать с ней. Нет сил даже пошевелиться. Вдруг понял, что в пустом космосе нет никаких привязанностей. Здесь другие законы, не человеческие. А может быть, человеческие законы нашего будущего.

*Душа в раскрытый космос опрокинута,
Летит над поделенною Землей,
Где в одиночестве была покинута,
Как в клетке, обреченная судьбой.
Нигде – границ, лишь светятся туманы,
Да и сама Земля – участник тех
Великих катастроф – законов странных,
Чья цель – иная, чем лишь наш успех.*

Все, о чем с юности внутри Гордеева пело, – вера в иное измерение «безграничной близости и доверия», – оказалось иллюзией. Иллюзия и то, чему так долго верил: вселенная пытается через нас осмыслить себя. Это заблуждение человеческого разума. Огненные бури (вспышки сверхновых) разрушительны и созидательны, но они не в человеческих

измерениях. И считают любые разумы.

Есть только чудо живой жизни, коротко вспыхивающей во времени и пропадающей в вечность. Единственное, чем живет человечество – жизнью. Странная тавтология, ограничивающая бесконечность воображения! Жизнь – для жизни, нельзя уходить далеко от жизни. Вспомнил слова Стива Джобса: «Если вы хотите идти быстро, идите в одиночку. Но если вы хотите уйти далеко, идите вместе».

Но и сама кажущаяся материальной жизнь – иллюзия, слишком кратка, как всплеск волны вечности. Проживаем надежду, и слава богу! Промелькнуть – и умереть! Но отчего мы тогда страдаем?

А может быть, сама жизнь не имеет смысла. Смысл надо придумать, как говорил Левин, герой Льва Толстого.

Кажется, здесь мое дно, до которого добираюсь, – фальшивое, воспитанное на классиках литературы и искусства? А за этим – ничего нет!

Оказывается, всю жизнь готовился к расставанию со всем дорогим сердцу, – как пережить и уйти с достоинством и душевной легкостью?

Он ничего не чувствовал, удлинняясь, как ангел без опоры под ногами.

Добиться видения иных измерений во время умирания стало невозможно – субъективная боль еще живого тела пересилила. Он задышался, словно был закопан в гробу, и пытался щупать ладонями ужасную непробиваемую тесноту. Нет, это даже не умирание. Это что-то особенное, ужас души.

Когда закопают на кладбище на Земле – это страшно. Но лучше, если закопают там, чем лететь мертвым по орбите вокруг солнца, может быть, через тысячелетие снова приближаясь к Земле.

Кому лучше, мертвому?

Из груди Гордеева вырвалась древняя мольба: «Боже, спаси и сохрани!»

И он услышал голос, доносящийся как будто отовсюду:

– Не бойся, с тобой ничего не случится, пока я рядом.

Никак, Бог? Да, здесь ему самое место.

Никакого лица не было видно, но он ощущал его таким, как в детстве, когда смотрел с обрыва на ослепительный океан, сливающийся с небом, теплым и зовущим, словно раскрывал свои безграничные объятия, чтобы слиться с ним в бесконечной близости.

Гордеев разговаривал с Богом!

– Боже, отчего мне так тяжело? За что!

В Голосе отовсюду было осуждение.

– Сейчас вы, люди, не знаете ответа. Раньше знали: за грехи тяжкие рода адамова, умноженные стократ в истории человечества.

Голос отовсюду сожалел.

– И снова мир полон злобы. Как во время, которое вы называете Средневековьем, когда погрязли в дикой коммерции, и все продавалось и покупалось, даже Спасение. И людям стало невмоготу от голода, войн и продажности – богатые покупали индульгенции, чтобы спастись, а воины крестовых походов, идущие спасти гроб господень, заранее получали отпущение грехов за грабежи и убийства. Так началось протестантское движение и реставрация. Это время было страшнее, чем у вас семнадцатый год.

Гордеев увидел средневековый дом с высокой крышей маленькими окнами (чтобы не облагали налогом), удобный для защиты – со скрытыми углами и верхним этажом, и женщину в чепце и переднике, убегающую на второй этаж. И ворвавшегося грязного ландскнехта, который, отбросив тук награбленного добра, догоняет и насилует ее, потом сует в раскрытую грудь кинжал, и он переживал, словно это его насилуют, и это он лежит зарезанный. И с трудом оторвался от видения.

– Тогда нашли выход, и Европа стала мирной и процвета-

ющей.

Гордеев тяжело ворочался в своем скафандре.

– Твой, Господи, намек не поможет. От средневековых объяснений не легче.

– Старые истины живы и сейчас – сурово сказал Голос отовсюду. – Дух дикой коммерции преодолел барьеры разума и снова вполз во все поры Запада и Востока. Человеческое существо несет тяжкий груз греха. Слишком сильно чудовищное могущество зла. Вы повреждены злом, и тщетны любые попытки избавиться от него, никогда не будет вам отпущения.

Гордеев зашевелился в скафандре с протестом. Ветхозаветные одежды Слов ниоткуда не давали удовлетворения.

– И что же, сдаться?

– Попробую по-современному. Значение слова "зло" у вас осталось таким же, как и встарь. Человеческое существо сознает свою греховность и неспособно не осуждать ее. Если бы зло при тоталитаризме было тотальным, и вы были повреждены им до потери совести, то разделение на злых и добрых, консерваторов и демократов, насилие силовиков и милосердие благотворительности было бы бессмысленным. Что делать совести, возненавидевшей грех, если он неодолим? Противостоять можно только борьбой без надежды на успех.

– Наконец, я успокоен, – поблагодарил Гордеев пересохшими губами.

А Голос вещал:

– Вы грешны. Поэтому вы должны избегать добра и принять зло. Признать и желать, чтобы вы были бесповоротно осуждены и прокляты.

Его Голос полыхнул молнией Громовержца Гневающегося.

– Если вы будете губить и преследовать себя от всего сердца, отдадите себя в ад на Мое правосудие, то Я освобожу вас.

Гордеев недоверчиво вглядывался в пустоту.

– У нас все охотно идут в ад, как будто там рай. Не верят ни в какое правосудие. Светоч мирового пролетариата говорил: Ны богу свэчка, ны черту кочерга. Публицист Невзоров тоже не верил ни в Бога, ни в черта. Писатель Виктор Пелевин видел впереди только нагромождение химер.

– *Sola fide!* – прогремел Голос ниоткуда. – Только верой! – вот призыв неистового монаха Лютера, перевернувшего мировоззрение Запада. – Человек оправдывается верой. Вера, а не добрые дела.

– Чем Тебе так помешали добрые дела?

– Дело в вере. Есть три категории добрых дел, говорил Лютер. Общественно полезные, взаимно добрые услуги, то есть по здравому смыслу. Затем благонамеренные действия, забота о мнении людском – конформизм благочестия. И церковугодие – предписанность и сознание подотчетности.

– Чем плохи добрые дела по здравомыслию?

– Этика веры – добровольное действие. Это не свободная воля и свободный выбор – чистая видимость, когда речь идет

о Боге или Космосе, как говорили в античности. Не добрые дела оживляют веру, а они вырастают из веры, как плод на дереве, утверждал Лютер. И не будет плод хорош, если дерево чахло. Пока нет веры, хотя бы такой, как у тебя, любые добрые поступки будут «тщетной беготней», лицемерием.

– Что понимать под верой? В средневековье понимали веру в некое Божество, прошу прощения.

– Вера – вещь живая, деятельная, могучая, так что верующий не может не делать добро.

– Но сейчас изменился смысл веры, – возразил Гордеев. – Раньше она была религиозной, потом стала «благоговением перед жизнью» и изумлением Канта перед звездным небом и нравственным законом внутри нас. А сейчас нет никакой веры, или это очередные химеры в головах, или что-то неопределенное, что можно ощутить лишь в искусстве, в поэзии.

– Вы заменили веру целью, чтобы заполнить пустоту в душе. Создаете черкизоны, черные рынки, подсчитывая банкноты, пока не отожмут ваш бизнес еще более целеустремленные.

Голос смягчился.

– Зло остается в нас, но не господствует. Узреть зло можно тогда, когда пойдешь духовной тропой.

Это Гордеев знал и без Него. Только этой тропой можно идти вечно, как шел он, и не добраться до Спасения, говоря Его языком.

Гордеева мутило от долгого собеседования, даже с Богом.

– Мой беспощадный вердикт – от веры в человека. Человек по природе ничтожен. Но в нем есть решимость, стойкость и воля.

– Ты, боже, так и не сказал, что же делать?

Голос ниоткуда затихал, удаляясь:

– Человек религиозен, пока есть душа, даже любой атеист.

У тебя это безгранично разлитый океан близости и доверия.

– Да, я чувствую Тебя!

Ему открылось, что всю жизнь расшифровывал свою эйфорию на крутом берегу океана. Предчувствовал, что она – то основное, что носил в себе постоянно.

– Ты сейчас озлобился на внешнее зло, и оттого обессилен, – разнесся по космосу голос издалека. – Вера твоя не так могуча, чтобы не замечать страдания тела. Ты не разжег до конца ненависть к греху, которая в тебе едва тлеет.

– Как найти силы уйти в веру, чтобы победить тело?

Голос уже не откликался.

Снова придя в сознание, Гордеев почему-то решил включить кнопку приемопередатчика. В наушники ворвался голос, полный тревоги.

– Турист-2, Турист-2! Отзовись! На Земле собирается экспедиция – тебя спасут!

Гордеев не знал, обрадовался ли голосу с этого света, он уже попрощался с ним.

На космической станции слышались радостные и раздраженные крики.

– Почему молчал? Как самочувствие?

Он отрешенно отвечал, уверенный, что слышит всех в последний раз.

– Тебя ищут! – орал командир Марков. – Поставлены на уши люди, страны, все человечество! Обсуждают способы спасения отдельного человека в космосе, впервые в мире. Раньше ловили только космический телескоп, чтобы сменить его линзы.

– Все человечество?

Гордеев удивился, что его еще могут спасти. Понял, что со всех сошло неосознаваемое душевное притворство, и сейчас все поняли, что они на самом деле глубоко сочувствуют!

И возникли какие-то надежды, и выросла неопределенная

вина, которую он чувствовал всегда. Оказывается, он не улетает в безнадежную даль космической бездны, а кружится вокруг Земли!

Он вспомнил жену и сына, о них думал, когда отцеплял фал, и перед ними был виноват определенно и больше всего. Увидел тревожные глаза Алены, но это облачко тепла уже не грело.

– Друзья в «Голосе истины» передают приветы, ждут твоего спасения! – ликовал Михеев, которого Гордеев считал пустышкой.

Американец Алекс закричал:

– The Russians don't give up! Русские не сдаются!

Лева Ильин глотнул воздух, глубоко вздохнув. Был ли он рад? Слово не то – у него оттаяло внутри, еще не понимал свое состояние.

– Держись, к тебе летит спасательный отряд! – так же громко орал Марков.

Среди других встревоженных голосов он услышал плач его секретарши Алены.

– Вас здесь очень ждут. Дорогой мой!

—

В следующие минуты Гордеев испытал смешанные чувства. Тот мир, который он считал чужим, словно взорвался сочувствием.

Люди сочувствуют! Теперь он смотрел на своих соратни-

ков и противников Движения «Голос истины» по-другому. Раньше он думал, что «дальнее» не способно сострадать, и он не способен сострадать дальнему. Но это другие люди, не холодно любопытствующие, не идеологизированные, не только с двумерным сознанием обособленной в себе массы, – люди нового века, иных измерений. Они по натуре добры! Моя детская вера была права! Неужели она непобедима?

Было ощущение, что наяву мир предстал в таком влекущем доверии и близости, который приходил только в детстве и юности.

Он уже не думал, что их доброта может обернуться привычной недоброжелательностью, если затронут их интересы. Всеобщая близость сочувствия тоже не постоянна, порыв, а завтра будут будни, хотя в человеке теплится плато постоянного желания близости.

Но в какие-то моменты люди сплачиваются, обнаруживая в себе подлинное, где исчезает относительность бытия. Это словно вспышка молнии, освещающей весь мир, которая потухнет во тьме обыденного существования, но память о поразительной солидарности останется. Это воскрешение тех мириад исчезнувших в веках, кого обходит луч нашего сознания, в замкнутых капсулах нашего существования. Творческий порыв – волшебное течение истины.

Его охватила эйфория. Неужели можно воскреснуть, смертью смерть поправ? Умерщвлен во плоти, но жив духом, – как возгласил Святой Петр.

Только сейчас понял, что всю жизнь хотел противостоять смерти.

Думать снова стало тяжело. Сознание его померкло. Почему-то он оказался в Элизиуме теней, где отдыхал лежа на мертвенно-зеленых его пригорках у высоких неподвижных роц, навевающих вечное забвение. Чем-то это не понравилось, и переместился в залив душ, предсказанный философом-одуванчиком в очочках, верившим, что после смерти человека душа переселяется в общий блаженный залив душ.

Земля отпустила его. И он ушел в иные состояния мироздания, где переживания обратились в грохоты разрушения и пения созидания, и пустота посверкивает радиацией.

Хрустальная ниточка пуповины, связывающей с планетой Земля, оборвалась, и осталось безмолвие черной пустоты.

Его заарканили специальным фалом, втащили в спасательный космический аппарат и сняли шлем. На исхудавшем лице, похожем на мумию, увидели застывшую улыбку. Он умер легко.